

**НОВОСТИ
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

Д-95

ЖОРЖ ДЮАМЕЛЬ

ПОЛУНОЧНАЯ ИСПОВЕДЬ

1010/9
**«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО**

RRgnol



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Д-95

ЖОРЖ ДЮАМЕЛЬ
GEORGES DUHAMEL

**ПОЛУНОЧНАЯ
ИСПОВЕДЬ**

ПЕРЕВОД И ПРЕДИ-
СЛОВИЕ В. ВЕЙДЛЕ



1910/2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА—МCMXXIII—ПЕТРОГРАД

Настоящее издание отпечатано
в Типографии Первой Петро-
градской Трудовой Артели Пе-
чатников (Моховая, 40) в коли-
честве 7.150 экз. — Петроград.
Гиз. № 5026. Петрооблит № 6062.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

484899



ПОЛУНОЧНАЯ ИСПОВЕДЬ
CONFESSION DE MINUIT

1920

85

Государственная
Библиотека

ПРЕДИСЛОВИЕ

1

Было бы бесполезно по поводу Дюамеля слишком много говорить о смене литературных направлений, было бы несправедливо отождествлять его творчество с группой тех или иных признаков и приемов. Это человек и это поэт: его призвание не в том, чтобы угадывать будущий спрос и подновлять стареющую моду; нет ничего более ему чуждого, чем профессиональные ужимки литератора. И если чем-то он продолжает быть связан со своими первыми друзьями и соратниками: Ромэном, Вильдраком, если чем-то он близок так же к Ш. Л. Филиппу, например, так это прежде всего ненавистью ко всякой слишком литературной литературе, к фразе ради фразы, к отдельному и неоправданному эффекту. Так же, как для них, для него отвратительно это беспредметное самоисчерпывание форм, эти побрякушки рифм и «оркестровок», эта разукрашенная и любующаяся сама собой проза, вся банальная изысканность словесной декорации.

Это отвращение сразу эстетическое и моральное. Оно не вопрос вкуса, оно не рассудочное отрицание. Им обусловлено все творчество Дюамеля, оно укоренено в самом центре личности, там, где художественное и человеческое—одно. Чтобы понять Дюамеля, надо испытать это чувство, надо пережить

эту глубокую потребность в искусстве неотраженном, прямом, питающемся кровью и душой мира, в искусстве, которое было бы живым видением, а не перелицовкой (хотя бы и самой парадоксальной) механизированных форм и абстрактных материалов. Надо уметь относиться к искусству одновременно скромней и требовательней, чем это принято в наше время. Тот, для кого оно лакомство, ничего не получит от Дюамеля. Насытится только тот, для кого оно насыщенный хлеб.

2

Дюамель начал со стихов, но уже до войны он выступил в качестве драматурга и критика. Для него это не неудачное сочетание профессий, а единое выражение личности. Лучшая его пьеса, *L'Oeuvre des Athlètes* (1914, напечатана после войны), только полнее воплощает то же самое негодование, которое в его статьях о поэзии (*Les Poètes et la Poésie*, 1912—13, изд. 1914) так глубоко высмеивает дешевую ловкость стихотворцев и продажную любезность критики. Эта склонность к сатире, мужественной и горькой, внушившая ему, например, еще гневную *Lettre sur les Mœurs scientifiques en Auspasia* (напечатана в мартовском номере «*Nouvelle Revue Française*» за 1920 год), в свою очередь, только одно из проявлений той непосредственной обращенности к жизни и к людям, которая так характерна для всех писаний Дюамеля. Его критические статьи отнюдь не примеры артистического гуттирования: он читает поэтов, и все его существо обращено к тому, что он читает; он говорит, он судит, и каждое слово идет изнутри, каждое суждение оправдано не поверхностной чувствительностью вкуса, но всем единством его совести. Именно этим, не какими-нибудь специальными наблюдениями так прекрасна его небольшая книга о Клоделе (*Paul Claudel*, 1913). Немного найдется книг, где автор, пишущий о великом поэте, был бы

с ним так лицом к лицу, где человек так смиренно и вместе так прямо посмотрел бы в глаза гению.

Как в статьях никакой фактический материал не в силах помешать Дюамелю быть вполне и только человеком, так и в его стихах с их упрощенной фактурой, свободной от всякого литературного реквизита, ему достаточно оставаться им, чтобы тем самым стать поэтом. Лучшие его сборники: *Contrepoints* (1912) и *Élégies* (1919). Лирическое переживание ищет в них отношения к миру наиболее прямого, непосредственного, голого; оно проникает самые простые чувства, самые непрочные связи между людьми; оно дает смысл и форму самому убого-человеческому, — элементарному фундаменту существования. Поэзия Дюамеля есть некоторое узнавание; познание людей и своего места в мире, отражение всех этих лиц и вещей. Это поэзия открытых глаз; не сонное марево, но пристальное и именно поэтому преобразующее зрение.

Из этой же основной потребности в какой-то новой наготе и правде вышли его четыре книги о войне, в которой он сам принимал участие в качестве санитара и врача (*Vie des Martyrs*, 1914—16; *Civilisation* 1914—17; *Possession du Monde*; *Entretiens dans le tumulte*). Это не рассказы: заметки, страшные анекдоты, часто простые описания. Они деловиты, фактичны; ничто в них не замаскировано и не «преподнесено». И все же они до конца лирически оформлены. Именно поэтому они трезвей и сосредоточенней знаменитого романа Барбюсса, хотя может быть и уступают ему в грандиозности фактической картины. Их язык полон сдержанного трепета. В *Civilisation* есть описание переосвидетельствования военно-обязанных, — это адское видение, углубленное до последнего ужаса и мерзости, внутренне ритмическое, как стихотворение, и точное, как протокол. Каждый эпизод — только частичное отражение одного большого чувства войны, увиденной с необычайной силой и без того упрощения, которым так гре-

шили все писавшие о ней. В этих книгах с нами, наконец, человек увидевший все ее величие и всю ее грязь и не пожелавший ни отвернуться от этого величия, ни утаить этой грязи, ни предложить в объяснение чудовищного факта какую-нибудь благополучную теорию.

3

«Полуночная исповедь» первая большая повесть Дюамеля. Она не знаменует переворота в его даровании, но может быть, вместе с последовавшим за ней сборником коротких повествований (*Les Hommes abandonnés*, 1922), осуществление чего-то давно подготавливавшегося. Это ни в какой мере не эпическая вещь, ни по строению, ни по тону. По сравнению с персонажами традиционного романа Салавен и более непосредственно реален, и более субъективно прочувствован. Как в стихах Дюамеля, как во всех его книгах, в «Полуночной исповеди» лирическое преобразование действительности происходит не путем какой-нибудь прибавки к ней, а через обнажение ее от всяких фактических «украшений» и прикрытий; не вышивая по канве, а освобождая канву от вышивки, если под канвой понимать не схему и отвлеченность, а индивидуальную, каждый раз, сущность жизни. Все фабулистические элементы оставлены в стороне: судьба и характер в Салавене не отделены друг от друга никакими событиями, наоборот, все события являются только проявлениями их полного единства, все повествование—выражением их нераздельности. Оно не складывается из отдельных поступков и переживаний Салавена; Салавен только разворачивает себя всем течением своей речи, только себя *произносит* на протяжении всей книги. Вся она вытянута в одну оголенную и сплошную мелодическую линию. Поэтому тон образующей книгу речи еще важнее, может быть, чем все, о чем она рассказывает. При этом Дюа-

мель не прибегает ни к какой стилизации сказа, ни к какому подражанию конкретной манере говорить. Язык Салавена почти не имеет бытового оттенка, иногда он немножко поканцелярски педантичен—вот и все. Тем не менее мы в любой фразе ощущаем единое русло всей речи. Как в стихотворении, органический ритм целого проникает каждое слово, проявляется в каждой интонации; деления глав означают в этом сплошном течении более длительные паузы и разрывы, абзацы—краткие остановки. В этом, больше чем в построении сюжета, заключается цельность «Полуночной исповеди», и в «Новой встрече Салавена» (см. *Les Hommes abandonnés*), являющейся своеобразным ее дополнением, где рассказ уже не ведется в первом лице, движение, темп, ритм меняются. Передать эту ритмическую структуру составляло главную задачу и трудность перевода.

В житейской убогости Салавена, в его моральной глубине, в духовности конфликта, на котором построена «Полуночная исповедь», легко усмотреть влияние русского романа. Оно не в заимствовании готовой формы, всегда мертвом, потому что форма как таковая—мертва. Роман Достоевского не служил образцом, по которому выкраивалась «Полуночная исповедь»; она принадлежит только Дюамелю, но именно поэтому из нее особенно ясно, как глубоко сам он пережил влияние Достоевского, то единственно плодотворное влияние, которое не литератор оказывает на литератора, а человек на человека. И здесь мы подходим опять к самому основному в Дюамеле. В отличие от стольких виртуозов и артистов, он всегда и всюду человек. Он не отделяет своего искусства от всего остального, что его связывает с жизнью. Он не ищет нарочитого своеобразия, он не насаждает новых форм, которые были бы только формами. Зато, когда его читаешь, испытываешь редкое в наше время чувство: желание увидеть его лицо и протянуть ему руку.

Есть вещи несравненно богаче и глубже «Полуночной исповеди». Она не обладает, конечно, ни бездонностью Достоевского, ни неисчерпаемостью Стендаля, ни еще многим другим. Однако в ней есть свойство, к которому неприменима сравнительная и превосходная степень. Это—правда, другое имя человечности. Говорят, что в применении к произведению искусства слово правда расплывчато и неясно. Если так, стоит только подумать о Дюамеле, чтобы вспомнить, что оно значит.

В. Вейдле

I

Я не сержусь на господина Сюро. Я в высшей степени недоволен, что потерял место. Недурное место, должен вам сказать. Но я не сержусь на господина Сюро. Он был по-своему прав, и я не слишком знаю, как я поступил бы в его положении, а между тем я понимаю очень многое... к несчастью.

Надо сказать, что господин Сюро не пожелал вникнуть. Мне следовало бы с ним объяснить, но если всё здраво обсудить, я лучше сделал ничего не объясняя. И потом, господин Сюро не дал мне времени прийти в себя, оправдаться. Он погорячился. Скажем прямо: он показал себя грубым и даже свирепым. Это ничего: я и не думаю на него сердиться.

Вот г. Жакоб—другое дело: он мог бы что-нибудь сделать для меня. В течение пяти лет, каждый день, утром и вечером, он видел меня за работой. Он знает, что я самый обыкновенный человек. Он меня знает. То-есть, если

хорошенько подумать, он меня не знает вовсе. И все-таки! Он мог бы сказать одно слово, одно единственное. Он не сказал этого слова. Я его не обвиняю. У него жена, дети и репутация, с которой ему нельзя играть.

Конечно, если бы я только рассказал все, что я знаю о господине Жакобе... Но пусть он спит спокойно: я ничего не скажу. Он меня не защитил, он не вытащил меня из воды; рассудив, я не сержусь и на него. Эти люди не обязаны иметь собственное мнение в некоторых вопросах. Тут было стечение очень неприятных обстоятельств.

Предположим пока, что виноват я один. Раз мир устроен так, как вы знаете, я соглашаюсь признать, что был неправ. После будет видно!

Впрочем, это уже давнее приключение. Я бы не заговорил о нем, если бы вы сами не потревожили дурных воспоминаний. И потом, со мной столько произошло с тех пор, что я мог забыть некоторые подробности. Должен вам заметить, что я видел господина Суро только три раза. На протяжении пяти лет—этого мало. Дело в том, что Сок и Суро слишком крупная фирма: эти господа не могут непосредственно сноситься с двумя тысячами своих служащих. Что касается моего отделения, то оно не имело никакого отношения к правлению.

И вот, однажды утром телефон начинает звонить.

Я не знаю, чувствительны ли вы к звонкам, колоколам, колокольчикам и прочим аппаратам этой проклятой породы. Мне они ненавистны. Существования электрического звонка там, где я нахожусь, достаточно, чтобы отравить мне жизнь!

По этой одной причине я подчас радуюсь тому, что больше не служу. Звонок—это не звук, как другие звуки; это бурав, который вам пронзает внезапно тело, насаживает на свой вертел ваши мысли и останавливает всё, вплоть до биений сердца. К этому не привыкаешь.

Итак, телефон начинает звонить. Вся канцелярия, не подавая вида, прислушивается.

Звонок прекращается, и мы начинаем ждать. Нервы у меня не хуже, чем у всякого другого, но это ожидание новая пытка, потому что ждешь, не позвонят ли еще несколько раз.

Один звонок, это для господина Жакоба. Два звонка, это для Пфлуга, швейцарца. Я двигаюсь с места после третьего звонка. С тех пор, как я ушел со службы, три звонка должны приходиться на Удэна, который при мне был на четырех звонках. Удэн! он не очень нервен тоже, этот Удэн! С первого же звонка он начинал кусать ноготь, не подавая вида, конечно. И он кончил тем, что у него сделалась хроническая ногтоеда на этом пальце.

В тот день один звонок, не больше. Долгий звонок, длинный, прямой, раздражающий своей уверенностью.

Господин Жакоб выходит из-за своей полуперегородки; он выходит из этого вместилища, где он как скаковая лошадь в своем стойле. Он снимает аппарат, облокачивается по своему обыкновению на спинку кресла и приклеивает голову к стене, там, где его волосы в конце концов оставили жирное пятно.

Разговор начинается. Я слушаю наполовину: это всегда поражает—человек, который беседует с пустотой, и улыбается ей, и делает ей любезные жесты, и вдруг уставится взором в шоколадную краску на стене, как будто видит что-то удивительное.

В тот день однако господин Жакоб не улыбался; он не делал любезных жестов. С первых же слов он принял стесненный вид, потом ужасно покраснел, потом опустил глаза и начал рассматривать радиатор, ошетилившийся в своем углу, как недовольная собачонка.

Я чинил карандаш. Излишне говорить вам, что графит у меня ломался каждую секунду. Я слышал, как господин Жакоб лепетал: «Но сударь, но сударь...» и я думал про себя: «Если он повторит еще раз свое «Но сударь»... я встаю и влепляю ему пощечину! Раз! Головой к стене!»

Я всегда говорю себе что-нибудь в этом роде. На самом деле я человек смирный и почти никогда ничего не делаю из того, что говорю себе.

Вы понимаете, что я не дал бы ему поще-

чины. Тем не менее я продолжал ломать свой графит и марать себе кончики пальцев. Господин Жакоб напоминал мне спиритов, претендующих на общение с духами и под конец придающих им некоторое подобие бытия. В промежутках, когда он молчал, слышался жиденький звук, точно с конца света, в котором я постепенно различал взрывы рассерженного голоса.

Вдруг господин Жакоб отклеивается от аппарата и вешает трубку ощупью, десять раз не попадая на крючок. Я был крайне взбешен; но, конечно, этого не было видно. Я наконец отточил свой карандаш и вытирал себе пальцы о брюки, сзади, там, где графит не оставляет следов.

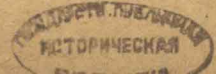
Господин Жакоб проходит за свою перегородку, открывает папки с делами, ворошит бумаги и наконец восклицает.

— Салавен! подите-ка сюда!

Я был в этом уверен. Я встаю и повинуюсь. Я застаю господина Жакоба вырывающим себе волоски из носу, что у него явный признак беспокойства. Он мне говорит:

— Возьмите эту тетрадь и снесите ее сами господину Суро. Он в своем кабинете, в правлении. Вы скажете, что я немножко нездоров.

Тут он останавливается; он рассматривает, прищулив глаз в сторону окна, большой волос только что выдернутый из ноздри; он кладет волос на бювар и прибавляет, сдерживая силь-



ное желание чихнуть, наполняющее ему глаза слезами:

— Ступайте, Салавен, и поторопитесь!

Чтобы дойти до кабинета г. Сюрю, надо пройти несколько зданий. Летом, когда окна открыты и двери приотворены навстречу прохладе, видны одно на другом различные помещения, где люди работают. Одни из них погружены наполовину в американские бюро, сложные, как машины. Другие съезжились на верхушке высоких табуретов, тощих, как жерди. Видны огромные стены, покрытые панками и напоминающие немножко колумбарий кладбища Пэр-Лашэз. Вдоль них передвигаются по воздушным галлереям двое или трое мальчишек, похожие на озабоченных пчел. По временам слышно потрескивание, звук жаренья, и входишь в большую залу, где пианистки пишущих машин музицируют как сумасшедшие: грозовая музыка, пронизанная уколами коротеньких звонков. Или это нечто в роде отдушин, где пахнет мокрой кошкой и столярным клеем; а в глубине—люди, налегающие на копировальный пресс, сжимая руки и стиснув челюсти. Одним словом, полная картина такого благословенного уголка, где все в порядке; то есть ничего похожего на земной рай!

В передней господина Сюрю—лакей в ливрее и в белых чулках. Он у меня спрашивает номер моего отделения и проталкивает меня в большую комнату, бормоча: «Вас ждут».

Я тотчас узнаю кабинет господина Сюрю, куда я являлся однако только один раз; другие два раза я видел господина Сюрю в нашем отделении. Я вижу синие обои, картины цвета виноградного варенья и в углу план в разрезе «трепально-сортировочной машины Сок и Сюрю» с медалями выставок.

Он, он тут! Вы его знаете, может быть, и вы знаете, что это человек несколько полный, высокого роста, с короткими волосами, усами щеткой и жесткой бороденкой; вся эта растительность довольно седая. Всегда дрожащее пенсне, потому что оно сжимает только маленький лоскуток кожи подо лбом.

Господин Сюрю косо на меня смотрит и говорит только:

— Вы пришли из канцелярии? Что поделяет господин Жакоб?

— Он нездоров.

— А? Давайте!

И я остаюсь стоять, лицом к большому ампиру бюро, не зная хорошенько, что лучше, держать ли пятки вместе, корпус прямо или принять позу солдата, стоящего вольно.

Должен сознаться, что я вел очень замкнутый образ жизни на службе у Сок и Сюрю. Я терпеть не мог случаев, заставлявших меня выходить за пределы моих обязанностей и привычек. Мое дело—исправлять бумаги, а не стоять на вытяжку перед промышленным королем. Я

проклинал господина Жакоба, я готовил для него одну из тех долго вынашиваемых фраз, которых в результате я никогда не произношу. Мое тело беспокоило меня к тому же, и я не знал, что с ним делать. Я чувствовал, как напрягаются все мои мускулы, каждый в положении невыгодном для всех остальных, и у меня было забавное впечатление, что весь я составляю огромную гримасу, не только лицом, но и туловищем, и животом, и конечностями, всем своим существом, одним словом.

К счастью, господин Суро не смотрел на меня. Он перебирал бумаги, которые я ему подал. Он испытывал тяжелое бешенство и довольно хорошо его сдерживал.

Вдруг, не подымая носа, он раздавил указательным пальцем страницу и произнес:

— Плохо написано... Неудобочитаемо... Что это за слово?

Я делаю четыре шага автомата. Я нагибаюсь и читаю, не колеблясь, громким голосом: «Сверхобязательный».

Этот маневр поместил меня совсем близко к господину Суро, возле левой ручки его кресла.

Тут-то я и заметил его левое ухо. Я помню его очень хорошо и даже сейчас нахожу, что в нем не было ничего необыкновенного. Это было ухо человека немножко полнокровного; широкое, волосатое ухо с пятнами винного цвета. Не знаю, почему я стал смотреть на этот кусок кожи с

крайним вниманием, которое вскоре стало почти мучительным. Он был совсем близко от меня, но ничто не казалось мне более далеким и более чуждым.

Я думал: «Это человеческое тело. Есть люди, для которых дотронуться до него вполне естественно; есть люди, для которых это самая обыкновенная вещь».

Я увидел вдруг, как во сне, маленького мальчика—г. Суро отец семейства— маленького мальчика, обнимающего г. Суро. Потом я увидел мадемуазель Дюпер. Это машинистка, с которой г. Суро имел довольно шумную связь. Я увидел ее склоненной позади г. Суро и целующей его как раз тут, за ухом. Я все думал: «Ну что ж, это человеческое тело; есть люди, которые его целуют. Это естественно». Эта мысль казалась мне, не знаю почему, невероятной и минутами ненавистой. Различные образы сменялись в моем уме, когда, внезапно, я заметил, что моя правая рука слегка подвинулась указательным пальцем вперед, и сразу я понял, что мне хочется положить палец туда, на ухо г. Суро.

В эту минуту толстяк проворчал что-то, глядя в бумаги, и его голова переменяла положение. Я испытал от этого сразу и ярость, и облегчение. Но он снова стал читать, и я почувствовал, как моя рука начала опять тихонько двигаться.

Сначала я был возмущен этой потребностью моей руки тронуть ухо г. Суро. Прошло немного

времени, и я почувствовал, что мой ум соглашается. По тысяче оснований, которые я смутно понимал, мне становилось необходимым тронуть ухо г. Сюро, доказать самому себе, что это ухо не запретная, несуществующая, воображаемая вещь, что это всего только человеческое тело, как и мое собственное ухо. И вдруг я решительно протянул руку и тщательно положил указательный палец туда, куда хотел, чуть-чуть повыше мочки, на уголок кирпично-красной кожи.

Сударь, Дамьена пытали за то, что он ударил перочинным ножиком Людовика XV-го. Пытать человека великое бесчестие, не извиняемое ничем; тем не менее Дамьен все-таки причинил королю какую-то, хоть и маленькую боль. Что касается меня, то я утверждаю, что не причинил никакой боли г. Сюро и что у меня и в мыслях не было причинять ему ни малейшей боли. Вы мне скажете, что меня не пытали, и, в известной мере, это верно.

Едва только кончиком пальца, осторожно, я коснулся уха г. Сюро, как он вместе со своим креслом сделал скачек назад. Я побелел, должно быть, немного; а он, он посинел, как это бывает с людьми, склонными к апоплексии, когда они бледнеют. Потом он бросился к ящику, выдвинул его и вынул револьвер.

Я не двинулся. Я не произнес ни слова. У меня было впечатление, что я сделал что-то чудовищное. Я был исчерпан, опорожнен, пуст.

Г. Сюро положил револьвер на стол, и его рука дрожала так сильно, что оружие, коснувшись дерева, издало звук стучащих зубов. Затем г. Сюро стал вопить, вопить...

Я не представляю себе в точности, что произошло дальше. Я был схвачен десятью служителями, меня потащили в соседнюю комнату, раздели, обыскали. Я получил обратно свою одежду; кто-то принес мне шляпу и сказал, что дело хотят замять, но что я должен немедленно покинуть службу. Меня проводили до двери. На следующий день Удэн принес мне мои письменные принадлежности и мои личные вещи.

Вот и вся эта несчастная история. Я не люблю ее рассказывать, потому что не в состоянии этого сделать, не чувствуя невыразимого раздражения.

II

Отметьте сверх того, что дело Сьюро знаменует начало моих несчастий.

Когда я говорю «несчастий», я не разумею серьезных неприятностей, постигших меня вследствие потери места. Я думаю скорей о моральном бедствии, в котором я топчусь с тех пор и из которого, может быть, никогда больше не выйду.

В тот день я измерил, я посетил глубины, откуда моему уму уже не выбраться больше. Прорвались облака, и на минуту я очень отчетливо увидел самое дно.

Бесполезно рассуждать о безрассудных вещах. Я лучше расскажу вам о событиях, случившихся после. Заметьте мимоходом, что называют событиями вздорные мелочи, которые одни только и случаются со мной,—это очень жалостно, если подумать.

Моя схватка с людьми г. Сьюро произошла около десяти часов утра. Не было еще и поло-

вины одиннадцатого как я оказался на улице. Мне оставалось одно: вернуться домой.

Я живу с матерью. Но я вижу, что вы ничего не знаете. Надо все вам объяснить, все рассказать. Это невыносимо,—когда начнешь говорить о себе, никогда не кончишь.

Моя мать вдова, отца я потерял еще в раннем детстве, так что не знаю о нем почти ничего. Я хочу сказать, что у меня очень мало воспоминаний вполне личных. Моя мать рассказывала мне по четыреста или по пятьсот раз некоторые истории об отце, так что эти истории сделались составною частью моей памяти, и я должен совершить настоящее усилие, чтобы отделить эти воспоминания от своих собственных воспоминаний. Но мы поговорим о моем отце в другой раз.

Мы всегда жили в нашей квартире на улице По-де-Фер. Три комнаты и кухня в четвертом этаже. Я ненавижу эту квартиру и все-таки только там мне хорошо.

Дом, место, где обычно живешь, становится под конец как бы твоим отражением, только его и знаешь, и видишь всю его тоску, всю невыносимую тоску.

Моя мать получает небольшой доход с капитала. Она прекрасно справляется с хозяйством при помощи этого дохода и того небольшого, что зарабатываю я. Моя мать женщина удивительная, единственный человек на свете, перед

которым мне хочется иногда упасть на колени.

Я говорю это между прочим; но как, должно быть, хорошо упасть на колени перед кем-нибудь, почтить его, открыть ему свое сердце, во всем положиться на его волю. Когда я подумаю о человечестве, когда я подумаю обо всех этих дрянных людишках, я не виню их за всё то зло, которое они творят; но почему они не делают так, чтобы время от времени можно было почувствовать властную потребность пасть ниц перед кем-нибудь из них, обнять ему ноги, поклясться ему в верности, служить ему, как служил бы раб или собака? Да, как раз! Ничего не получишь от этих животных. Ты дашь им свою душу, горящую, вырванную живьем, а они примут подозрительный вид старьевщика, рассматривающего негодную монету.

Я повторяю, моя мать удивительная женщина, такая добрая, такая храбрая, такая непохожая на меня! А я, я достоин презрения, но по причинам—прошу вас верить—известным мне одному; по причинам, которые не сумели бы себе представить ни Удэн, ни г. Жакоб, ни даже Лану. Всем им, прежде чем меня презирать, было бы полезно посмотреть себе хладнокровно в лицо. Впрочем, они, может быть, и не презирают меня.

При всем том у моей матери есть маленький недостаток. Она постоянно обращается со мной

так, как будто я все тот же мальчуган, которого она когда-то нежила и журила. Это несносно для человека, приближающегося к тридцати годам. Сказать по правде, моя мать немножко ворчливого характера. Очень маленький недостаток, я знаю, и все-таки крайне для меня тягостный, особенно в некоторых случаях.

Именно об этом досадном свойстве моей матери я думал выходя от Сок и Суро.

Свежий воздух принес мне облегчение. Я начинал владеть собой, собирать свои мысли, тинувшие в разные стороны, как запряжка лошадей, утомленных долгим подъемом.

Я шел по Аустерлицской набережной. Я пробовал понять, что со мной произошло, и повторял: «Меня выбросили за дверь... Меня выбросили за дверь... за дверь канцелярии». Мне трудно отвлечь свои мысли от ритма ходьбы, и, так как я шел довольно ровным шагом, я скандировал эти скверные фразы на мотив польки.

Внезапно я остановился. Мне стало ясно, что придется объявить эту новость моей матери, и что новость эта очень прискорбна, что она заключает в себе немало грозных последствий. Тут я остановился совсем, чтобы прислониться к парапету над Сеной.

В тени деревьев камень был почти холоден, нужна была эта прохлада и эта неподвижность, чтобы дать мне лучше почувствовать мою лихорадку и мое волнение. Минута передышки

достаточно мне показала, что я был далеко не в нормальном своем состоянии, в этом пресловутом состоянии, в котором я не бываю никогда.

Маленькая остановка была мне все же отрадна. Так немного нужно, чтобы сделать меня счастливым. Плохо только, что требуется еще меньше, чтобы выбить меня из колеи. Эх, жалкая механика!

Артель чернорабочих нагружала барку. Они брали свою кладь на берегу и достигали судна, шагая по длинным и гибким доскам, волнисто отраженным в воде. Сперва я смотрел на них с истинным удовольствием. Потом я увидел самого себядвигающегося по узкой доске на подобие эквилибриста. От этого я почувствовал род головокружения, вскоре столь неприятного, что я оторвался от камня и возобновил свой путь.

Сейчас же мысль о необходимости объявить моей матери гибельную новость вернулась и погрузила меня в тяжелую скуку.

Сказать: «Я потерял место», это казалось мне еще не трудно. Фраза коротка, проста, определена; мне не представлялось невозможным произнести ее. Я предвидел даже несколько способов освободиться от этого первого признания.

Я мог, например, сесть с убитым видом—и мне не пришлось бы притворяться, уверяю вас—и сказать тихим голосом: «Мама, я потерял место». Но, может быть, было бы более ловко,

более искусно, чтобы не обескуражить бедную женщину, походить взад и вперед по квартире, как я обыкновенно делаю, и вдруг бросить несколько слов, тоном, полным беспечности: «Кстати! знаешь, я потерял место». Я имел также в виду возможность бурно ворваться в комнату; с силой я бы произнес что-нибудь в таком роде: «Это безобразие! Это отвратительно! Они устроили так, что я потерял место». Я представил себе, как болезненно отразится такой взрыв, даже притворный, на мамином здоровье, и принял решение в пользу приема более простого: я пойду в свою комнату и стану с шумом снимать сапоги, мама меня спросит: «Зачем ты разубаешься? Разве после обеда канцелярия закрыта сегодня?» И я отвечу: «Нет, но я больше туда не пойду; у меня вышел неприятный разговор с начальством, и я потерял место».

Повторяю, эта первая часть разговора не заключала в себе, по-моему, никакой трудности; зато я чрезвычайно раздражался при мысли, что мне придется объясняться дальше, излагать причины, наконец рассказывать всю историю, всю знаменитую историю, которую вы теперь знаете.

О нет! ни под каким видом! Моя мать удивительная женщина, я вам уже говорил; но ум у нее простой, это душа не знающая никаких вывертов. Как я мог объяснить ей это

смехотворное событие, этот палец на ухе толстого господина, эту глупость?

Глупость ли это впрочем? Действительно ли это смешно? Нет! Тысячу раз нет! Вы не заставите меня признать ни что я злодей, ни что я идиот. Так вот оно, ваше человечество? Вот человек, человек как вы и я; между нами такая стена, что мне нельзя дотронуться кончиком пальца до его кожи, не оказавшись при этом преступником. Так, значит, я не свободен? Так значит личность окружена, как приморские страны, неприкосновенным пространством, где иностранные суда не могут плавать без формальностей?

Я не прикидываюсь оригиналом; я устроен так же, как всякий другой. Что-то говорит мне: мысль, руководившая мною в этом случае, из числа тех, что знакомы каждому человеку, это дикая и все же естественная мысль, что же касается того, следует ли поддаваться таким побуждениям, это, увы, совсем другое дело!

Я ненавижу ложь. Достаточно трудно выпутаться и из правды; зачем же примешивать к ней другие малости? Рассказать матери, что меня уволили вследствие общего сокращения персонала, или что к этому привели завистливые интриги моих товарищей, вот мысль, которая меня даже не коснулась. Или скорей нет, она коснулась меня слегка, раз я вам о ней говорю; но я пришел к ней только для того, чтобы без труда ее отбросить.

Вы видите, мои размышления были далеко не умиротворяющи. Дойдя до Аустерлицского моста, я решил сообщить о потере места без каких бы то ни было комментариев.

Аустерлицский мост—прекрасный мост. Он возносится среди большого белого пространства. Когда в Париже бывает немного ясности, вся она—для Аустерлицского моста. Там всегда ветер, запахи путешествий, барки на работе, торговцы пустяками, фотографы под открытым небом, заряжающие свои аппараты под юбкой жены за неимением темной комнаты, словом, всяческие развлечения для глаза. Мост изгибает округло спину, как будто его приятно щекочут трамваи и грузовики, бегающие у него по хребту. И вообще я люблю окрестности Аустерлицского моста. Эти места не связаны у меня с дурными воспоминаниями. Не помню, чтобы я когда-нибудь переходил Аустерлицский мост в состоянии стыда или гнева. Эти вещи, они идут в счет.

К несчастью, в тот день Аустерлицский мост ничем мне не помог. Мои заботы были слишком жгучи: Аустерлицский мост оказался бессилен.

Я направился в Jardin des Plantes и думал: «Наверное в платановой аллее будет лучше»; это большая аллея, поднимающаяся к музею,—здесь я почти всегда бываю счастлив.

Платановая аллея оказалась полной неудачей. Подходя к оранжереям, я был еще недовольнее,

еще расстроеннее, чем входя за решетку сада. Аллея дала мне пройти с очевидным рап-душием, она отнеслась ко мне, как к чужому, не проявила ни малейшего знака дружбы, — к тому, кто пять лет проходил по ней, во всю ее длину, четыре раза в день летом и три раза в день зимой.

От всего этого у меня получилось тягостное ощущение безразличия и враждебности вещей. Дурной знак, сударь, когда вещи нам изменяют в трудную минуту.

Хуже того! Вид ботанического сада принес мне новую неприятность: ботанический сад был закрыт. Я понял, что еще слишком рано и что если я буду продолжать свой путь, то мое появление дома, утром, будет чем-то необычным и ускорит катастрофу, то-есть объяснение.

Я возвратился к медвежьему рву. Я это сделал не без глухой злобы: все мои привычки перевернуты! Не удивительно, что этот знакомый мир не может принести мне облегчения, раз я ставлю все вверх дном, раз я нарушаю договор, раз я прихожу, когда меня не ждут, как недоверчивый муж, возвращающийся непредвиденно из путешествия.

Мне предстояло убить больше часа, раньше чем отправиться на улицу По-де-Фер. Я провел это время, лавируя вокруг ботанического отделения, как корабль, ожидающий прилива, чтобы войти в гавань.

Я твердо решил не говорить ни слова о случившемся, но уверенность в том, что моя мать попросит разъяснений, не переставала раздражать меня.

Я думал: «Если она хоть как-нибудь меня упрекнет, я ей не отвечу ничего. Я буду держать себя холодно, с достоинством, как человек, потерпевший большую несправедливость. Ведь, в сущности, я жертва во всем этом деле. Я потерпел большую несправедливость; передо мной должно извиняться, меня нужно утешать.

Несомненно, она будет меня бранить, она все еще обращается со мной как с ребенком. Несомненно, она будет жаловаться, расспрашивать, говорить о деньгах. О! только не это! Вот предмет, обладающий способностью выводить меня из себя. Слышать ничего не хочу о деньгах.

Если, как это вероятно, она будет меня бранить, я ничего не скрою из того, что думаю. Я ей скажу свое мнение об этом паршивом месте, которое я потерял. Моя ли это вина, если я поступил на канцелярскую службу? Я хотел заниматься химией. У меня нет никакой склонности к этому уродливому чиновничьему ремеслу. Зачем мама уговорила меня взять место сперва у Мутье, потом у Сок и Сюре? Я был создан для химии.

Все, что случилось, необходимо должно было случиться.

Почему она мне не позволила идти по моему пути? Мы бедны, это правда; но это еще не причина, чтобы испортить мою карьеру, прозевать мою жизнь, погубить мое счастье. Нет! Нет! Я не принимаю никакого упрека относительно этого места, которое я потерял. Если бы меня не заставили его взять, я бы не потерял его».

Шагая по запутанным аллеям Лабиринта, я чувствовал, как во мне пухнет и вздувается целый мир ядовитых мыслей. Мои шаги описывали все тот же бессмысленный круг, и чувства кружились на месте, как стая скворцов, не знающая, где ей опуститься. Я приходил постепенно к заключению, что единственно моя мать ответственна за мое несчастье. Это она дала прожити годам школьных стипендий, не подталкивая меня в должном направлении. Это она убедила меня искать занятий несовместимых с моим характером. Это она будет теперь осыпать меня упреками, говорить мне о наших денежных затруднениях, заставит меня ощутить всю мою глупость и неспособность. Нет! Нет! Этого я не потерплю.

Была грозная, давящая жара. От моего круженья пот стекал с меня крупными каплями, я шел как во хмелю. И в самом деле, я был пьян, пьян горечью и гневом. Все же самое существенное было сделано: я приготовил все мои ответы, я был заряжен злобой, как мортира по-

рохом. Я был вооружен. Последнее слово будет за мной.

Вы можете, сударь, смотреть на меня с отвращением. Я согласен на это. Но я должен говорить правду.

А теперь вообразите себе бесноватого, каким я был, когда услышал, как пробило половину первого и когда я направился к улице По-де-Фер с поспешным видом человека, честно заработавшего свое пропитание.

III

Коридор, пробуравливающий наш дом на уровне земли, темен от самой двери, как нора. Бесчисленные шаги стерли плиты его пола посередине, и получился такой вид, будто во всю его длину проведен желоб, где стоит грязная вода, принесенная сапогами. Это не следы мытья: швейцариха стара и пола никогда не моет.

Этот коридор для меня — за сердце хватающее место, одно из тех мест, которые составляют часть нашей души. Все мои радости, все мои отчаяния, все мои бешенства должны были пройти сквозь эту плющильную машину. Они оставили на сводах неистребимые следы, пятна не похожие на пятна сырости, нелюдские запахи, замечаемые мною одним, тысячу едких воспоминаний, которые каждый раз замедляют мой шаг и опьяняют меня грустью.

Солнца — причины всяческого забвения — этот коридор так и не видел больше с того затерянного в прошлом дня, когда каменщики

погребли его под домом, как египетскую гробницу под пирамидой. Вот почему, быть может, он так кишит призраками.

Я люблю его, кам мы любим болезни, составляющие часть наших привычек, как мы любим цветы, намалеванные на стене, в ночи, когда мы не спим.

Я люблю прямоугольник белесого цвета, который в зимние вечера тротуарный газовый рожек вырезает на стене моего коридора.

Я люблю убогий и вялый запах, который бродит вместе со сквозняками в этих внутренностях нашего дома. Если я воскресну через пятьсот лет, я узнаю этот запах среди всех запахов мира. Не смейтесь надо мной; в душе вы лелеете, быть может, что-нибудь более грязное и в чем трудней признаться.

Когда мне случается возвращаться с одной из тех прогулок, где изведано немало нового, где испытана тысяча желаний, когда мне случается вернуться домой после прекрасного дня, как из очистительной купели, мой коридор падает мне на плечи и говорит мне: «Внимание! Ты все-таки только Салавен». Это предупреждение леденит меня, но оно мне полезно, так как весьма излишне предаваться иллюзиям относительно самого себя.

Вы видите, коридор влияет на самый мой рассказ; он меня задерживает, он расхолаживает мою историю; он меня парализует так же,

как он чуть не парализовал меня в тот день, в день моего приключения.

Но, я уже вам говорил, слишком большой натиск был во мне: я прошел по коридору, как по ущелью, поросшему терновником; ободрившись, я все-таки вырвался, и одним движением оказался на площадке первого этажа.

Там прозябает наша старая швейцариха, в темноте, одержимой кулинарными запахами, под пленками вечной горелки Ауэра с переполненной водою трубкой. Свет умирает и снова рождается сто раз в минуту и среди этих судорог виднеется круглое окно, а за ним—сумерки внутреннего двора.

Наша швейцариха доживает свои дни на том самом грунте, где ее некогда посадили. Она умирает с головы—как тополя. Она почти помешана и наполовину слепа от двойного бельма, делающего ее зрачки мутно-молочными. Несмотря на это, она узнает нас всех, своих жильцов, по походке, по дыханию и по многим другим незаметным признакам, которые ее осведомляют, хотя она и не отдает себе в них отчета. Нечто в роде чувствительности неподвижных моллюсков.

Итак, швейцариха постучала в дверь и сказала:

— Луи, тут письмо для тебя и каталог для Маргариты. Будь так добр, передай его проходя мимо.

Маргарита, наша соседка, портниха. Я взял письмо и каталог и продолжал восхождение. Я подымался быстро, чтобы моим решениям не оставалось времени рассеяться. Повороты лестницы вызывали у меня знакомое легкое головокружение. Несмотря на напряжение моего ума, я не изменил привычке, старой, как жизнь, прочесть во втором этаже дощечку Лепарньё: специалист плетеных туфель и веревочных подошв. Это фабрикант в конуре, из тех, что питаются кирпичами. Но не будем терять времени с Лепарньё.

На площадке четвертого экажа я положил каталог у Маргаритиной двери и тотчас же двумя пальцами, обычным способом, постучал к нам. Существует звонок, у меня есть ключи, но я никогда не пользуюсь всем этим. У меня своя манера стучать. Это упрощает жизнь.

Мать открыла мне, и сперва я поступил в тот день как обычно; часы повседневной жизни образуют всемогущую машину, последовательные части которой нас схватывают, толкают и манипулируют нами без всякого уважения к нашим решениям. Это значит, что я поцеловал мать, поставил трость в ее глиняное вместилище, повесил шляпу на вешалку и прошел на кухню мыть руки. Я повиновался старым тираническим силам, но моя злость ничего не потеряла от этого и вертелась внутри меня, как кошка в мешке.

Мать прошла за мной следом на кухню. Она подняла тихонько концом ложки крышку кастрюли и сказала, кивая мне головой:

— Луи, я приготовила тебе кусочек бараньего седла. Мясо нынче дорого; но мне хотелось приготовить тебе кусочек бараньего седла, ты так его любишь!

Что ему делать, скажите, этому бараньему седлу, посреди моей муки! Что за мысль говорить о еде с человеком, подвергшимся несправедливости, с человеком, обуреваемым отчаянием и яростью? Это баранье седло наполнило меня унижением, оно сделало меня самому себе смешным. Я был глубоко уязвлен; мне определенно показалось, что мама надо мной смеется.

И потом, зачем говорить о цене мяса? Я отлично знал, что мясо дорого. Разве время говорить о стоимости пищи, когда я потерял место? Уверяю вас, что я принял прямо в лицо, как пощечину, мамины слова. Все же я ничего не сказал, чтобы не причинить никакого ущерба своей злобе, чтобы сохранить ее цельной, устрашающей, неотразимой. Я быстро совершил смотр своим ответам. Они были готовы, окончательные, хлесткие, выстроенные перед моими глазами, как ружья в козлах.

Я собирался пройти в свою комнату, чтобы начать с шумом разуваться, как было решено. В последнюю минуту у меня не хватило духу. Я подумал: «Лучше подождать подходящего

повода, например, если мама еще раз заговорит об этом бараньем седле».

Завтрак начался. Желудок у меня стянулся, съежился. Я ел без всякой охоты.

Я смотрел на дно своей тарелки и отодвигал куски мяса, чтобы видеть изъяны фаянса. Я в точности знаю все изъяны наших старых тарелок.

Я чувствовал взгляд моей матери, как он приковывался ко мне, не отрывался от меня больше, и думал, что «оно» видно, что мое несчастье написано у меня на лице от начала до конца. Я заключил отсюда, что я жалкое существо, бессильное скрыть свои чувства. От этого еще больше разрослась моя злоба.

Между блюдами я ждал, не говоря ни слова. Я не хотел оставлять рук на столе. Я испытываю род стыда за свои руки. Если бы у меня была большая тайна, руки меня выдали бы: они неспособны к притворству. Итак, я оставил их висеть, эти длинные руки, и кончиком пальцев теребил свои носки; это нелепая привычка, от которой я не могу отделаться.

Мама сказала мне с особенно обидной мягкостью:

— Оставь же свои носки, мой бедный Луи, ты их продырявишь.

Я положил на стол руки, дрожавшие от бешенства. Почему «бедный Луи»? Я не люблю, чтобы ко мне обращались с сожалением, осо-

бенно когда я не заслуживаю ничего другого. И потом, зачем нападать на мои привычки, на мои тики? Прошел возраст, когда человек моего звала может пытаться исправиться. Замечание моей матери показалось мне не только бесполезным, так как она мне его уже делала тысячу раз, но еще и оскорбительным в моем положении. Кроме того, я, считал мале деликатным совет беречь мои носки в момент, когда наша бедность превратится быть может в нищету.

Я едва не дал свободно излиться готовым фразам, вздувавшим мне горло; но с которой начать?

Они все теснились к выходу, как перепуганные бараны, стремящиеся все вместе пройти в узкую дверь. Так что, и в этот еще раз, я ничего не сказал.

Я кончил свой завтрак и рассматривал мебель, стены, печь, вещи, свидетелей моего существования и сообщников многих тайных мыслей: фарфоровых кроликов на буфете, часы с бронзовой фигуркой, знающие обо мне истории, которые им лучше будет оставить про себя. Я смотрел на тирольский пейзаж в раме, на этот горный пейзаж, где лучшие сны моего детства истлели, иссякли.

Ни одна из этих безделок, ни один из этих предметов не хотели быть на моей стороне. Все нагло смотрели мне в лицо. Я чувствовал, что с первого слова ссоры все они будут с моей матерью, все против меня.

Кончая есть, я заметил на краю швейной машины письмо, переданное мне швейцарихой.

Взгляд моей матери очевидно следовал за моим, так как она почти тотчас сказала:

— Это, вероятно, письмо от Лану. Я, кажется, узнала почерк. Ты его не распечатал?

Это была правда. И я, с таким лихорадочным нетерпением ожидающий почтальона, не приносящего обычно ничего, я, не открывающий никогда письма без мысли, что оно содержит новость, способную перевернуть мое будущее, я не распечатал этого письма.

Я вскрыл его с чувством угрюмого недоверия: это могла быть только дурная весть. Я плыл в одном из тех течений, где вы предоставлены ударам судьбы, и она редко упускает случай этим воспользоваться.

Это было ничто, совсем ничто. Лану извещал меня, что взял отпуск, и просил при первой возможности навестить его.

— Ты пойдешь сегодня вечером, — сказала мама.

Фраза, которую я совсем не приготовил, сама пришла мне на язык и выскользнула прежде чем я мог удержать ее. Я ответил:

— Нет! Я пойду сегодня днем.

Как только я выговорил эти слова, я увидел неизбежную близость кризиса. Отступление было невозможно. Война была объявлена. Я почувствовал, что мое лицо пылает, виски стучат,

губы раздвигаются как у шавки, принимающей вызов.

Мама непременно ответит: «Как? Днем? А служба?» Я не дал ей времени для этого и произнес с силою взрыва:

— Я не пойду на службу сегодня. Я больше не пойду к Сок и Сью. Кончено! Я потерял место.

Я стоял, вытянувшись; но все же чувствовал себя как бы собранным, готовым к прыжку. Я тяжело дышал; я ждал.

Моя мать сидела в своем кресле, подле окна.

Она подняла голову, не торопясь, и посмотрела на меня.

Моя мать немолода и носит очки. У нее глаза горячего, переливчатого синего цвета. Когда она хочет посмотреть совсем в лицо, она подымает голову, чтобы использовать свои стекла.

Так она и смотрела на меня, мирно, целую долгую минуту. И я видел ее прекрасный взгляд, прикованный ко мне, этот взгляд, полный неусыпной нежности, этот взгляд, не покидавший меня с тех пор, как я живу на свете. Я чувствовал, что ноги у меня дрожат непрерывной дрожью. Тогда мама проговорила тихо, таким естественным, таким глубоким, таким уверенным голосом:

— Ну что же, мой Луи, найдется другое место. Это небольшое несчастье.

О, высшая мудрость! О, доброта! И правда, это не несчастье. В одно мгновение я это увидел. Правда, ведь никакого несчастья со мной не случилось. Так почему же я был так несчастен, почему же я был так жалок?

Я сделал шаг, два шага и потом я почувствовал, что больше не властен над собой, что опустошавшая меня свора бешеных зверей сейчас унесется в беспорядке, освободит меня. У меня было раздирающее ощущение, что я спасен, вытащен из пропасти. Я упал на колени перед бедной женщиной, я спрятал лицо в ее платье и начал рыдать безумно, неистово; рыданиями, которые выходили у меня из живота и катились как волны из глубины, прогоняя все, выметая все, очищая все.

IV

Буря без устали блуждает по миру людей. Блаженны иссохшие сердца, посещенные ею! Блаженны жаждущие поля, утоленные этой грозой.

Я не скрываю, что я плакал. Слишком уж много и без того мне приходится скрывать; в этих слезах я могу признаться: им я обязан лучшим мгновением своей жизни.

Я уже сказал, я был на коленях перед моей матерью, я упал ниц перед этой простою добротой, перед этой любовной прозорливостью. И я, с моей постоянной непоседливостью, я не торопился уходить.

Мама ничего не говорила; она положила руки мне на голову. Должно быть, она была очень взволнована; я чувствовал, однако, как кончиком ногтя она сцарапывала пятнышко на воротнике моего пиджака: она со мной так заботлива, она так озабочена мной, так гордится мной, бедная женщина, как будто действительно возможно, чтобы кто-нибудь мной гордился!

Я приходил понемногу в себя и говорил:

— Мама! Ведь у нас как раз денежные затруднения.

И мама отвечала, совсем просто:

— Да нет же, Луи, у нас нет никаких денежных затруднений.

Это была правда: мы бедны, но у нас не было никаких денежных затруднений. Я должен был с этим согласиться.

Понемногу я чувствовал, как меня охватывает сияющая радость. Моя мать поступала так, как поступают все матери в этих случаях: она меня причесывала, она мне перевязывала галстук, она проводила мне по лицу нежной рукой, которую даже домашние работы не могли сделать шероховатой.

Потом она открыла зеркальный шкаф, свой шкаф новобрачной, и я получил тонкий носовой платок с вышивкой, немножко о-де-колону и даже леденчик.

Я сосал леденчик, сдерживая последние сотрясения своих рыданий. Мне было десять лет, пять лет, я был совсем малышом, я дал бы себя убаюкать. И, в самом деле, я, кажется, давал себя убаюкивать. Не будем говорить об этом.

Я очень хорошо понимал, что мама не будет спрашивать у меня никаких объяснений. Уже ради одного этого я хотел бы еще раз броситься к ее ногам, целовать ее башмаки.

Так вот, я сделал лучше: я представил ей все, какие только можно вообразить, объясне-

ния. Я рассказал ей весь свой день; я рассказывал ей во всех подробностях. Ничто не было пропущено, ни г. Жакоб, ни мой палец, ни ухо толстого человека. Она улыбалась, бедная женщина. Револьвер заставил ее немножко вздрогнуть, но она быстро опять начала улыбаться, смеяться даже, чтобы уверить меня, что все это неважно, несерьезно.

Я-то знаю, что все это важно и серьезно. Тем не менее моя мать сделала так, что я это забыл. О, прекрасное, дорогое мгновение! Чем больше я унижал себя перед этим святым существом, тем больше я себя чувствовал облагороженным, выросшим, искупленным. Вот странная вещь, и я не берусь вам разъяснить ее.

Я вижу еще одну сцену этого памятного дня: я сижу в вольтеровском кресле, я говорю с жаром, весело, и мама, на корточках передо мной, тихонько меня разувает и надевает мне мои старые туфли, зная, что я не люблю и двух часов провести дома без туфель и домашней одежды.

Мы продолжаем нашу беседу, громко смеясь. Моя жизнь, мое будущее никогда не казались мне столь ясными, как в этот день. Никогда человечество не внушало мне симпатии более искренней и более безусловной.

Все, чего я касался, было для меня открытым и братским. Я вошел в свою комнату, и мне казалось, что все предметы встречают меня безмолвным ликованием.

Моя комната мала и заставлена вещами. Это мое царство, моя отчизна. От неведомых предков мне достался почтенный диван, занимающий целую стену между комодом и кроватью. Чтобы не прерывать своего рассказа, я не хочу принимать во внимание те несколько часов — что я говорю? — те бесчисленные адские часы, что я провел на этом диване. Пока что, достаточно вам будет узнать, что этот диван в моих глазах — священное место, ибо это растянувшись на нем иногда я обладал во сне вселенной.

В тот день, под своим вылинявшим чехлом, диван мне показался лучезарным. Он напомнил мне книги, которые мы прочли вместе, так как я читаю всегда лежа, чтобы как можно больше забыть свое тело, чтобы почти умереть для своей собственной жизни и быть всецело со своими героями.

Я начал шарить по комнате, отыскивая какой-нибудь старый огрызок папиросы: окурок, должным образом остывший, вот что я люблю! Я не доканчиваю папиросы нарочно, чтобы найти ее на следующий день.

Я без труда розыскал то, чего мне хотелось, и начал курить, лежа на спине.

Я курил у себя, в глубине своего дивана, днем, в будний день. Поистине, это было необычайно, удивительно. Табак был тем более чудесного вкуса, что на службе днем никогда не приходится курить. Я не говорю о воскресеньи,

об этом ядовитом дне! И так, табак имел вкус свободы, и вкус табака был вкусом самой жизни.

С дивана я видел полки, гнущиеся под тяжестью моих книг. Пристально глядя на корешки томов, я видел, как все они вместе волнуются мелкими волнами, подобно воде ручья. Это давний обман зрения, который меня забавляет всегда, когда не приводит меня в ужас. В этот день я был от него в восторге.

Я провел на моем диване ленивый час, сосредоточенный, насыщенный, один из тех часов, о которых можно говорить двадцать лет. Потом я подошел к окну, чтобы посмотреть на божий мир.

Был август месяц. Прохлада, отзывавшаяся сточным местом, подымалась с мостовой вместе с запахами овощей и криками разносчиков, постоянно ползущих со своими тележками по торцам нашего квартала. Улица казалась глубоко высеченной резцом в каменистой массе строений. Все окна были открыты, и виднелись люди, как во время отлива мы видим колонию морских животных, выбирающихся из своей скалы.

Если вы не знаете улицу По-де-Фер, сделайте мне удовольствие, не разыскивайте ее. Я знаю, что она вам будет противна. Но я не люблю, когда ее бранят: я предпочитаю быть единственным, кто о ней отзывается дурно.

Я различал в глубине квартир всевозможные мелочи, которые при других обстоятельствах

показались бы мне жалкими, грязными и которые в тот день были для меня занимательными и трогательными. Я бы охотно заговорил кое с кем из соседей, которых обычно стараюсь не замечать.

Мама позвала меня. Идя к ней, я пел во весь голос, и так, что она сказала мне в трехтысячный раз:

— Жаль, что ты не хочешь учиться пению; у тебя такой приятный тенорок.

Мама приготовила мне еще один сюрприз: она вынула из шкапа две рюмки, тонкие как мыльные пузыри, и графинчик Чинкве-Террского вина. Этот напиток достался нам от какого-то дальнего родственника, жившего в Италии.

Я совсем не лакомка, но рюмка крепкого вина была для меня наслаждением.

Мама говорила:

— Выпей это, прежде чем пойти к Лану; выпей, чтобы окончательно подкрепиться. И если захочешь остаться пообедать с Лану, оставайся.

Эта капля алкоголя перевела мою радость в такой регистр, что для меня становилось необходимым ходить, расходовать себя, потреблять себя, исчерпать себя.

Я переоделся, поцеловал мою добрую маму и полным ходом ввинтился в лестницу.

Как пищеносная артерия в самой толще городского жира, улица Муффетар спускается с севера на юг по взъерошенной, апоплексической, полной сутолоки местности.

На склоне горы Святой Женеьевы страна Муффетар образует утесистый и непокорный риф, о который разбиваются огромные волны нового Парижа.

Я люблю улицу Муффетар. Она имеет тысячу удивительных и разнообразных обликов: она похожа на муравейник, если на него наступить ногой; она похожа на водопады с их несущим забвение грохотом. Она вросла в город как тучный паразит. Она не презирает остальную землю: она ее не ведает. Она упитана и распростерта, как свинья.

Страна Муффетар обладает своими собственными обычаями и законами, не имеющими более ни смысла, ни силы по ту сторону потока Монж. Чужестранец, пришедший из центра и забредший на улицу Блэнвиль или на площадь Контр-

эскарп, втягивается в определенные часы, как соломинка, муффетардийским мальштремом. И тотчас же водоворот его увлекает.

Улица Муффетар кажется посвященной свирепому обжорству. Она несет на спинах, на головах, в бесчисленных руках множество питательных вещей с сильными запахами. Все продают, все покупают. Мелкие комерсанты прохаживаются со всем своим торговым фондом на ладони: три луковицы, немножко салата, щепотка тмину. Когда они обменивают этот товар на медный грош, они исчезают, их день кончен.

На берегах стремнины нагромождаются горы сырого мяса, домашней птицы, дородных тыкв. В течение дня поток подтачивает эти богатства и уносит их. Они возрождаются с зарей.

Дома выкрашены в грубые цвета, кажущиеся единственно верными, единственно возможными. Каждая дверь укрывает торговку жареным, и аромат перепрелых жиров подымается между стенами как фимиам, потребный какому-то плотоядному божеству.

Я вам рассказываю все это оттого, что, по выходе из дому, улица Муффетар была первым этапом моего счастья.

Было около пяти часов дня. Улица Муффетар утихала. Настоящая лихорадка у нее бывает утром.

Проходить по улице Муффетар в день, когда счастлив, в день, когда переполнен,—роскошное

дело. Я скользил по направлению к озеру Гобленов, как путешественник в пироге по течению тропической реки. Все было для меня откровением. Я приближался с минуты на минуту к полноте жизни.

В колбасных я видел дебелых девиц, для которых жизнь — подобие танца; они чтят паштеты ритуальными жестами, они их изнеженно ласкают. О, сладостные паштеты!

Грязные улочки, в роде переулка Патриархов, таили в себе тень цвета ультрамарина, восточную тень, куда моя мысль пускалась на завоевательные разведки. Я предвкушал зрелище красивой торговли вареными овощами, крупной женщины, казавшейся всегда немножко томной под милой тяжестью своих природных прелестей; это зрелище было мне даровано мимоходом и как раз в нужное мгновение. В тот день разве в чем-нибудь мне могло бы быть отказано?

Бокал Чинкве-Террского вина сверкал во мне, как горячий уголь. Мой шаг был воздушен. На мне покоилось благословение. Все приключения мне были обещаны.

Я был больше двадцати секунд сапожником в глубине лавочки, где пахло юфтью. Двадцать секунд; полвека философской жизни в камерке, тесной как наперсток.

Я был рыботорговцем среди тысячи рыб с их свежими красками, среди стаи лангустов,

которых я сам на заре выловил в дымящемся море, в созвездиях архипелагов.

Я был огородником, виноделом, погонщиком волов.

Пучок бананов унес меня в пески по следам каравана; но запах окороков немедленно явил мне закоптелую ферму в уединении Севенн.

Как хорошо быть счастливым! Как это просто, как это легко! Правда, сударь, как это люди устраиваются, чтобы не быть всегда счастливыми при всем, что им дано для этого?

Подходя к церкви св. Медарда, я встретил старого товарища, по имени Делонэ, с которым был знаком, когда служил у Мутье. Он покупал томаты у одной из торговек, загромождающих своими корзинами устье улицы Муффетар.

Он подошел ко мне с угнетенным видом и рассказал целую запутанную историю, в которой шла речь о больной жене, о мертвом ребенке, еще о чем-то...

Я чувствовал себя потрясенным; у меня наворачивались слезы на глаза. Я был так добр в тот день! Господи! Как я был сострадателен и добр в тот день!

Я не мог удержать сердечного порыва; я сказал Делонэ:

— Не нужно ли тебе денег? Потому что ты знаешь...

Он отказался, глядя на меня с удивлением, с беспокойством. Я смотрел на него с перепол-

нейным сердцем: мое опьянение вбирало в себя его отчаяние. Может быть, это звучит чудовищно, но его скорбь вызывала во мне пламенную симпатию, для меня не неприятную. Я сказал ему:

— Не могу ли я помочь тебе чем-нибудь? Не нуждаешься ли ты во мне?

Я отдал себя в его распоряжение. Я обещал навестить его. Я покинул его с изъявлениями своей верности, своей преданности.

Я не пошел к нему. Я даже не знаю, что с ним стало, и я больше никогда о нем не вспоминал. Однако в тот день, я, вероятно, пожертвовал бы многим, чтобы он не был несчастен.

Тень, брошенная им на мою радость, сделала ее еще более яркой. Меньше чем в пять минут она снова совсем завладела моим сердцем. Она наполняла его как опухоль: она была почти стеснительна, ее было тяжело нести. Я говорю вам о ней слишком много, об этой радости. Простите: это не моя вина, если она у меня была в тот день. Она распирала меня до крика.

Эта необыкновенная радость увлекала меня, как надутый ветром парус влечет ладью по водам: движимый ею я прошел бодрым шагом улицу Монж, этот мощный насос, высасывающий под вечер центр города и вливающий кишашую людьми волну в южные кварталы.

Немного позже я увидел себя среди пустынного пейзажа, окружающего Halle aux vins. Освежающий запах бочек с выбитыми днищами порхал вдоль решеток: он был для меня.

Я не знаю толком, где я шел после этого. Мои мечты примешивались непрестанно к чувственному миру, так что в действительности я перестал существовать в определенном месте вплоть до шести часов. Может быть даже я был в это время в нескольких местах мира, может быть нигде. В шесть часов я очнулся на асфальте бульвара Бурдон.

Это было настоящим испытанием. Бульвар Бурдон—угрожающее место для человека недостаточно уверенного в самом себе. Если вы не посещены благодатью, вам рискованно оказаться лицом к лицу с бульваром Бурдон в летний день. Он тосклив и жгуч; мерцания и запахи канала вызывают у гуляющего тошнотворное головокружение.

Я одержал победу над бульваром Бурдон и вышел покрытый славой на площадь Бастилии, гремучую, как наковальня, и насыщенную лучами.

Предмесье Сент-Антуан видело, как я проходил в пылающем тумане, подобно человеку опьяненному трудными успехами. Вскоре я подошел к улице Келлер, где живет Лану. Я продолжал расточать свое счастье и не видел дна своего кошелька.

VI

Лану—друг детства; он единственный, кто вышел из того погребенного мира. Лану—это миллион воспоминаний и человек в придачу, человек, которого я люблю. Лану всегда составлял часть моей жизни. Он не был из тех, с кем я, когда мне было двенадцать лет, клялся хранить вечные узы дружбы. О них я даже не знаю, живы ли они еще. Я никогда не строил с Лану планов на будущее, или так мало!.. И наверное как раз поэтому он связан со всем, что со мной случается.

Я нежно люблю Лану; другими словами, чувство, которое я к нему питаю, кажется мне чистой, бдительной дружбой; впрочем, это большая гордыня считать себя способным к истинной привязанности.

Лану ничего не знает я думаю, о характере моей к нему дружбы. Что-то—тоже какой-то вид гордости—побуждает меня скрывать, как слабости, склонности самые непосредственные. И потом, Лану не знает, что он мой единствен-

ный друг. Я всегда давал ему повод думать, что у меня еще много других увлекательных и ценных знакомств. Могу ли я признаться Лану в моей природной скудости, в неспособности иметь нескольких друзей?

Лану клерк у адвоката. Он женился на женщине, которую любил, которую все еще любит. От нее у него ребенок, этого прекрасного ребенка я крестил. Хорош крестный!

Было половина седьмого, когда я пришел к Лану. В две минуты я объяснил самое главное. Марта, жена Лану, мне сказала:

— Вы со службы? Что-то рановато!

Я ответил:

— Я больше не хожу на службу. Я бросил..

Лану задал мне тотчас множество вопросов, и я отвечал точно издали, с небрежным, рассеянным видом, с видом человека, перед которым открываются соблазнительные и разнообразные перспективы.

Я полурастянулся на оттоманке, превращающей комнату Лану в нечто в роде гостиной, и смотрел, как Марта купает младенца, прежде чем уложить его в постель.

Октав Лану курил маленькую трубку из оливкового дерева. Он держал голову слегка склоненной на плечо; у него тонкий профиль, и на него приятно смотреть. Его лицо выражало счастье столь безмятежное, что оно походило на отсутствие, на пустоту, на ничто; его

лицо выражало привычное счастье, нечто подобное счастью часов, заведенных на сто лет, счастью камня, падающего в пространство навстречу вечности.

Марта имела довольный вид—дар ее беспечального существования. Она морщила лоб однако и ворчала каждую минуту по поводу мимолетного упрямства ребенка, по поводу капли воды, пролитой на коврик, по поводу другой капли, брызнувшей на зеркало шкапа.

Я очень этому удивлялся, я, ничего не понимающий в настоящем счастье, я, у которого нет и шести часов, и четырех часов счастья в году. Я думал с тайной горячностью: «Что за важность эта капля воды? Можно было бы сегодня впустить всю Сену в мою комнату, и мое блаженство не потерпело бы от этого ни малейшего ущерба».

Я созерцал группу, образованную моими друзьями. Только младенец, казалось мне, живет в своей радости, оба других в ней, так сказать, спят. Я посматривал на них с некоторым презрением, с некоторой жалостью. Я думал: «У них есть все, что нужно для счастья, и это какие-то мумии; их довольство—набитое чучело. Я дрянной человек, дурной сын, уволенный чиновник, и я чувствую себя сегодня переполненным через край счастьем подлинным, неистовым, огромным, которое смотрит на их счастье как Гималаи должны смотреть на жабу. Это

несправедливо, но это изумительно, изумительно! Ну же! Ну! Надо подуть на это безбурное озеро.

Я дул от всего сердца. Я дул как тифон. Я делал тысячу сумасбродств, и, казалось, каждое из них удовлетворяло какого-нибудь из сидящих во мне бесов.

Я взял ребенка на плечи, чтобы исполнить с ним какие-то головокружительные танцы. Одно лишь это маленькое существо было со мной в одной плоскости, было вровень моему блаженному блаженству. Его пронзительный крик доставлял острое удовлетворение чему-то бесновавшемуся во мне.

Понемногу оба Лану разгорячались. Они пробуждались от какого-то оцепенения; казалось, они говорили: «Это правда! мы счастливы, так почему же мы не веселимся? Почему мы не пляшем? Почему не кричим, не прыгаем, не разражаемся смехом?»

А я плясал, я кричал. Я был ужасно весел. Лану сказала мне вдруг:

— Ты остаешься обедать с нами?

Я пришел для этого. Я возражал однако. Я позволял себя упрашивать.

Лану перестал настаивать, и тотчас же легкий пот выступил у меня на висках.

Я представил себе одинокий вечер с этим огромным грузом веселости, который я не смогу нести один. Но Лану начал снова просить, и я

согласился сразу, малодушно, почти заикаясь от страха.

Это мгновение было выпавшим звеном в напряженном сцеплении моих восторгов. К счастью, звено было восстановлено, и все прошло бесследно.

Мы уложили ребенка с большой торжественностью. Он заснул сейчас же, о чудо! Он перешел, не колеблясь, от интенсивнейшего существования ко сну, к глубокому забвению, к уничтожению.

Мне не хватило времени ему позавидовать: мы стали обсуждать меню. Зерно веселости, принесенное мною в дом, теперь проростало само. Лану спешил спуститься в погреб. Он говорил:

— Да, да! одну из трех бутылок Вуврэ!

И Марта прибавляла:

— Сегодня, как раз! Вот случай, чтобы открыть коробку куропатки с трюфелями.

Человеческая радость, сударь, чувство курьезное и нечистое: ей постоянно приходится искать опоры в материальных вещах, вводимых нами в желудок. Даже когда радость кажется отрешенной от всех этих низостей, ей надо, если она хочет быть длительной, усвоить себе пищеварительные доводы. Она редко признает их существенными основаниями, но она ищет в них подтверждений, подкреплений, выводов. Может быть, тут нечего стыдиться. Это вполне естественно для невоздержных животных, как мы

с вами. Поройтесь в ваших воспоминаниях и посмотрите, не испытывали ли вы потребности подчеркнуть ваши лучшие минуты, присоединяя к своему счастью какую-нибудь живую утеху языка и желудка. Да, да, это так!

Я усердно накрывал на стол вместе с Мартой. Столовая Лану выходила окнами на обширную неровную поверхность: низкие строения, фабричные корпуса, мастерские, несвязный агрегат угловатых домов. Заходящее солнце послало сквозь эту кутерьму горизонтальный луч, повелительный, подобный мечу, приходивший в самую глубь комнаты, чтобы ослеплять нас и оживлять наш энтузиазм.

Куропатку вытащили из ее убежища. Это была коробка консервов, хранившаяся благоговейно в течение месяцев для какого-нибудь особого случая. Коробку открыли, и мы увидели птицу, вываренную, сморщенную, среди широких пластинок трюфелей с их неотвязным запахом.

Были и другие лакомства. Я жадно вылизывал подкрепление, которое эти вещи смогут принести моей радости.

В момент, когда обед начался, оба Лану были такие же сумасшедшие, как и я. Я их втянул, приподнял. Мы суетились на одной и той же ступеньке лестницы. Мы были марионетками, и наши нитки были натянуты одинаково.

И тотчас наше довольство пустило корни

в наших воспоминаниях, длинные корни, которые высасывали все прошлые радости, чтобы они приняли участие в настоящем.

Наши добрые воспоминания были многочисленны. Сверх того действовало еще некое волшебство, и события, казавшиеся нам злосчастными, досадными, возвращались перепутанные с другими и давали нам повод для смеха. Среди ароматов кушаний и напитков наша потребность счастья разбухала на столе, на этом пространстве, доступном нашим затуманенным взорам, как пузатое травоядное, пережевывающее в своей жвачке целый луг.

Сколько смеха в этом прошлом, питаемом однако угрюмым, ненавистным настоящим! Октав, у которого есть маленький талант имитатора, заставлял оживать на наших глазах, в наших ушах толпу комических персонажей, искаженных двадцатилетними рассказами. Это были воспоминания истасканные в конец. Нет лучше воспоминаний! Когда Лану собирался было пропустить одну из наших самых заслуженных шуток, я непременно напоминал ее сам: в ней было еще несколько капель сока, как в старых, сто-кратно выжатых лимонах.

Марта, вышедшая замуж пять лет тому назад, не всегда могла участвовать в этом веселом выкапывании покойников. Она жаловалась нам на это, улыбаясь. Так дружба мстила любви.

Мы ели вкусные и простые кушанья под-

держивавшие жаркий огонь в этом сверкающем фейерверке.

Ночь пришла уже давно,—и лампа, и прохлада, когда без всякой видимой причины, без всякой причины доступной пониманию, нечто новое появилось во мне.

Наступило определенное мгновение, когда я заметил, что я немного менее счастлив, чем в предшествовавшую минуту. Вот! Я не могу вам это выразить яснее.

Сударь, вы бывали на берегу моря. Вы видели прилив: воды поднимаются и поднимаются часами, все смелее, все отважнее с каждой волной, и нельзя себе представить, что они останавливаются. И потом наступает момент колебания. Тогда кончено! Кончено! Начиная с этого мига слабости, вода уступает, она уходит, она постыдно бежит. Она открывает страшные низины, забытую нищету и глубину, она предает все это дневному свету, и нельзя ее удержать; нельзя помешать этому бегству.

Я тотчас понял, что моя радость уходит, что я буду покинут, лишен своих прав, предан.

Я ощутил резкое колебание уровня: чета Лану продолжала свое восхождение. Я смотрел на их подъем, как выбившийся из сил путешественник, который только взором может следовать за своими спутниками.

Я делал усилия, чтобы отвоевать немного почвы. Напрасное старание! Я преподнес еще

несколько тяжелых шуток; они пошли на пользу только другим; мне они показались грубыми, позорными. Кушанья потеряли свою действенную силу: я ловил себя на тайной критике их свойства, приготовления, уместности.

Недобрая ясность овладела моими глазами, моими ушами. Я наблюдал Лану; я с отчаянием увидел, что он находит удовольствие в глупостях, в нелепицах, которым я уделял расчетливые смешки, окрашенные иронией, потом, вскоре, жестокостью.

Мне захотелось кричать, кричать караул, звать на помощь, как матросу в беде на разбитом бурей судне. Это было бы весьма бесполезно: одиночество ширилось вокруг меня, сумрачное, непроницаемое, смертельное. Лану становились для меня людьми другого мира, тем же, чем должна быть для рыбы ласточка.

Нечего было делать. Я покорился с горечью. В моем представлении я был животным, которое режут, которому выпускают кровь и оно видит, как она течет, оно видит, как льется из него ручьем вся надежда, вся жизнь.

Меньше чем в полчаса жертва была свершена. Я был покинут благодатью, опорожнен, истощен.

Больше того, обозначился, разверзся устрашающий дефицит. Я совершил неосторожные расходы, я промотал свою радость: я задолжал, я разорился на долго. Я начинал упрекать себя

в моей бессмысленной дневной радости; я исследовал ее методически, безжалостно, вменяя себе в преступление эту суетную и зловредную расточительность.

Лану не замечали ничего. Они продолжали одни: им не было дела до меня!

На вид я был с ними; кажется, я даже отвечал им; но я питал к ним досаду, почти переходящую в ненависть. Это была их вина, если я потерял, разбросал, растратил все мое внутреннее достояние. Они мне помогали в моих безумствах, они способствовали моим излишествам, они повергли меня на гноище Иова. Пришло мгновение, когда я больше не мог. Я встал, чтобы уйти.

Мне пришлось выдержать своего рода борьбу. Мои друзья еще нуждались во мне и старались меня удержать. Я окостеневал в своем сопротивлении, чтобы избавиться от них, как прозревший любовник избавляется от старой любовницы.

Они уступили. Они согласились на мой уход довольно скоро, что удвоило мою досаду. Их было двое, они могли утолить свое неистовство.

Впрочем, мне уже пришла пора снова погружаться в свое уединение. Разнообразные эпизоды моего дня начинали возвращаться ко мне и самые радостные становились самыми невыносимыми.

После нескольких прощальных слов я бросился вниз по лестнице, черной и жаркой.

У меня было ощущение, что я сорвался со своего причала и что теперь по крайней мере я свободен, свободен быть несчастным вволю. Улица уносила меня, как утопленника течение воды. Старинные и неведомые силы начертали мой путь.

Я видел опять, одну за другой, все минуты этого пагубного дня: канцелярию, г. Жакоба, г. Сюрю, искушение, мой идиотский и все же необходимый поступок, мое возвращение домой, мою ярость и доброту моей матери. Начиная с этого момента, я не находил достаточно свирепости и холодной злости, чтобы судить свое безрассудство, свою неестественную радость, свою феноменальную глупость. Главное, главное, я негодовал на себя за то, что не предвидел, к какой бездне ничтожества меня приведет эта оргия незаслуженного счастья.

Я блуждал, я шел лунатической походкой по сумеречному и сухому Парижу. С мостовых подымался удушающий запах пыли и выжженного конского навоза. Каждый фонарь схватывал мою тень на ходу, начинал кружить ее и передавал следующему фонарю. Это было способно вызвать рвоту.

Облокотившись на парапет моста Сюлли, я провел смутный час, собирая все элементы своего отчаяния, связывая их в пучок. Я делал неслыханные усилия, чтобы быть несчастным с точностью. И в этом мне было отказано: я не был

великим несчастливцем, я был чем-то замаранным, испорченным, безобразным, смехотворным.

Звонок моего дома разбудил меня; не шумом: его звук жидок и запрятан в самой глубине постройки, но липким холодком медного кольца в моей руке.

Я поднялся по лестнице медленным шагом, весь в поту, оглушенный испарениями помойных ведер, расположенных под окнами каждого этажа.

Добравшись до своей площадки, я почувствовал необходимость войти украдкой, не будя матери. Мысль очутиться лицом к лицу с бедной женщиной, наполняла меня смущением и стыдом.

Я подвигался на цыпочках, как вор. Мама по обыкновению оставила на буфете маленькую зажженную лампу. Я потушил ее, чтобы не увидеть нечаянно в зеркале уродливое лицо, которое у меня без сомнения было.

Я прошел в свою комнату, снял башмаки и бросился на диван. Тайнственное мерцание, исходившее из глубин парижского неба, умирало на меди маленького фонарика, висевшего на улице, в углу между стенами домов. Я устал и уставил глаза на этот ничтожный огонек и, сжав кулаки, кушая пальцы, я провел ночь презирая себя и ненавидя.

VII

Считая с этого дня, началось время, оставшее во мне неопределенное воспоминание, воспоминание полное сладости и стыда. Я думаю об этом времени, как об огромном сне. Что же тут удивительного, раз я в самом деле старался слить мои дни и мои ночи в одной и той же дремоте, в одном и том же оцепенении.

Я уже говорил вам, Удэн принес мне на следующий же день после дела Суро мои письменные принадлежности. Я убрал все это в угол комнаты, в ожидании момента поступления на другое место. И тотчас моя новая жизнь началась.

Я вставал поздним утром. Первые дни около шести часов какой-то внутренний толчок заставлял меня открыть глаза, что весьма естественно, так как в течение долгих лет я вставал в это время, чтобы идти на работу.

Итак, я продолжал в течение некоторого времени просыпаться в шесть часов; я испытывал

от этого особое удовольствие и говорил себе, что вне дома мне нечего делать в такую рань и что поэтому совершенно нет надобности вставать с постели.

За этим приятным размышлением следовало обычно множество других, менее счастливых мыслей: я думал о своем потерянном месте и о необходимости найти другое. Одним словом, угрызения совести отравляли иногда этот незаконный досуг и будили меня окончательно. Чаще всего путем какого-то усилия наизнанку, путем какого-то согласия на бездействие, которое сон вливал в мои члены, я прогонял докучные мысли и погружался с наслаждением в ужасающее и сладострастное ничто.

Я был как бы в центре черного пространства, уложен, подвешен, качаем. Все мои мысли, все мои хотения, все вещи, которые были мною, отходили от меня и становились кругом, в потемках. Я их видел, как толпу смутных личин. Мне было хорошо; я был такой малостью! Смерть похожа, может быть, на это; в таком случае она хорошая вещь.

Я вспоминаю только, что на мою душу, на бесформенный остаток моей души, был наклеен синий и прямоугольный образ окна увиденный сквозь ресницы, как сквозь перекладки клетки.

Временами в самой сердцевине этого небытия меня посещал, меня пронзал насквозь сон.

Это был сон полный суматохи, задыхающийся сон, как истории, которые представляют в кинематографе.

Почти все мои сны разворачиваются в страшной тишине. Те, где есть шум, слова, песни, — редки: они переворачивают мне душу, я их помню много дней.

Я вижу сны очень часто; я вижу сны неотчетливые и все же яркие. То-есть я вижу картины с расплывчатым контуром, но с интенсивными красками.

Я не знаю, зачем я вам говорю об этом; я такой обыкновенный человек, так ужасно похожий на всех других людей!

Что меня больше всего поражает в моих снах, это что мне не нужно спать, чтобы их видеть.

Поймите меня, я не говорю мечтать, как мечтают поэты, я говорю видеть сны, как их видит тот, кто спит, — становиться добычей страшного, великолепного мира. Часто я нахожусь в разгаре работы, например пишу под своим маленьким абажуром и вдруг, трах!.. у меня едва хватает времени почувствовать, как меняется темп моей души, и вот я в другой жизни. Иногда я испытываю это во время ходьбы, на улице. Но надо будет поговорить с вами о моих снах в другой раз; слишком много мне нужно вам рассказать об этом мире, незачем пускаться в другой.

Я говорил вам о снах, которые я видел прежде чем проснуться.

Так вот... если даже проснувшись, я ничего не помнил из этих утренних снов, они меня всего пропитывали, они давали аромат всему моему дню, предreshали на целые сутки цвет моей души.

Около девяти я сбрасывал с себя одеяло. Из кухни, где работала почти бесшумно моя бедная мама, доносился запах кофе, вкрадчивый и пронзительный, как мысль. Я вставал и одевался с отвратительной усталостью, с усталостью перед тем, что будет.

Я шел к матери на кухню и целовал ее молча. Каждый день я был уверен, что она мне сделает какое-нибудь заслуженное замечание, что она упрекнет меня за эту нескончаемую сонливость, за эти поздние вставанья, оставлявшие в моем существовании широкие пустоты, темные и запыленные.

Но каждый день мать говорила мне, нежно меня целуя:

— Мой Луи, я поджарила тебе немножко вчерашнего хлеба.

Я садился на плетеный табурет между судомойным столом и шкапом некрашеного дерева. Я занимал место узкое, как судьба. Я поворачивался спиной к скупому свету маленького двора; все окружающие вещи подтягивали меня, поддерживали, подпирали, и мне было хорошо.

Да, мне было хорошо, несмотря ни на что; мне было хорошо в моем малодушии, в моем отупении.

Я люблю кофе; я люблю также сладостный запах поджаренного хлеба. И вот я наслаждался этими незаслуженными благами, пока моя мать смотрела на меня тихонько, внимательно, своими привычными к полутьме глазами. Я понимал, что я должен был быть обезображен сном; я чувствовал, что у меня лицо стало пухлым, одутловатым, что у меня под глазами мешки, волосы сухие и спутанные; но все мне было безразлично: только бы не нарушить волшебного оцепенения, которое позволяло мне переходить от одной ночи к другой без сотрясения, без толчка, без настоящего пробуждения.

Окончив первый завтрак, я возвращался в свою комнату заняться своим туалетом. Так как я имел перед собой неограниченное время, я приступал к своим омовениям с большим беспорядком и небрежностью. Так мне случалось в иные дни дотянуть до вечера, откладывая с часу на час свое бритье.

Кончилось тем, что я вовсе перестал бриться и это с тех пор я ношу то подобие бороды, которое вы видите и которое внушает мне глубокое отвращение.

Ах, сударь, я себя знаю достаточно хорошо, чтобы судить без снисхождения человека, это отталкивающее существо, обреченное паршиветь и рабствовать.

Извините, что я говорю вам все это совсем прямо; но как говорить об этом без злобы? В течение тридцати лет в моем распоряжении было каждое утро около двадцати минут, чтобы следить за чистотой своего тела, и я вас уверяю, что эти двадцать минут были хорошо наполнены. Я следовал всегда одному порядку: руки, лицо, ноги и т. д... Жизнь была легка, мне оставалось только повиноваться своим привычкам.

Начиная с момента, когда я располагал для тех же нужд почти всем моим днем, мне не удавалось должным образом исполнить ни одного пункта своей программы. Я все время откладывал то или другое, в сущности горько упрекая себя во всех этих отсрочках. В этот замечательный период мне случилось две недели подряд не мыть ног, и все потому, что у меня было время сделать это десять раз. И не подумайте, что это забывчивость. Нет, нет! Я рассматривал мечтательно мои голые ноги и думал, что сойдет еще до завтра. От завтра до завтра они, в конце концов, становились совершенно грязными.

Посредине своего туалета я начинал погружать папиросу, перелистывать книгу. Я погружался в угол дивана и предавался неопределенным мечтаниям. С неубранной постели подымались большие клубы сна. Мои ночные сны, укрывшиеся под мебелью, за рамами, в цветах

обоев, посматривали одним глазком и выходили тихонько, как бесы. Они снова завладевали комнатою и мною самим. Они завязывали и завивали вокруг моей души вертящуюся фарандолу, и с этого мига время останавливалось посреди вечности, как разбитый параличем корабль на паточном море.

Это продолжалось до тех пор, пока мать не открывала легонько дверь, не без того, чтобы произнести три или четыре раза: «гм! гм!» Тогда сны убегали, как крысы, под комод, и оцепенение меня покидало.

— Луи, — говорила мама, — не заняться ли мне твоим хозяйством?

— Да, да, — кричал я, торопясь одеваться.

Мыло высохло на моих щеках, мне не оставалось достаточно времени, чтобы выбриться. Я натягивал галопом куртку и башмаки и выходил из комнаты, говоря:

— Я пойду справиться насчет этого места экспедитора, ты знаешь? Насчет этого бюро адвоката...

— Иди, мой Луи, — отвечала мама, взбивая обеими руками перину и подушку, как будто эти предметы не были населены множеством живых образов, известных мне одному.

Я брал шляпу и трость, хотя мне и замечали во время одной недавней попытки получить место, что человеку служащему трость придает не особенно желательный, «любитель-

ский» вид, и затворял за собою дверь квартиры.

Как только дверь закрывалась, я видел, как подозрительный мрак лестницы оживляется толпой ползущих, прыгающих, ласкающихся видений. Мои бесы были тут. Они меня ждали, как собаки, которые хотят, чтобы их взяли на прогулку. Они окружали меня, таякая, лизали мне руки, бежали за мной по пятам, и, все продолжая спускаться по-сырым и стертым ступеням, я отбивался от тысячи сказочных сновидений, как утопленник, который идет ко дну.

VIII

Я шел по улицам наудачу, и день был предомной, как выжженная пустыня без горизонта, без неожиданностей. Те, кто говорят, что жизнь коротка, они меня смешат, слышите ли, смешат, смешат! Это годы коротки а минуты—длинные, и моя жизнь состоит только из минут.

Я шел по тротуару, ступая преимущественно по его гранитной обочине. Я обмакивал в канавке конец своей трости. Я люблю эти уличные ручьи. Они протекают по мостовой и иссякают в определенные часы, я знаю; они рождаются не из ключа, а из чугунного крана. Тем хуже! Получаешь только ту поэзию, которой заслуживаешь. Я провел часть своего детства, вопреки стараниям моей бедной мамы, за выуживаньем ржавых булавок и сапожных пуговиц в канавках улицы Турнефор. Нынче я не копошусь больше в грязной воде, но я все еще внимательно рассматриваю кусочки посуды, гравий, ничтожные осколки, которые течение смывает и уносит понемножку в сточную трубу. И потом

канавка напевает как-никак свою маленькую жалобу. Это наводит меня на мысли о лугах, о реках, о странах, которых я не узнаю никогда. Это цивилизованная вода, гнилая вода. И все-таки вода, вода!.. Море, большие озера, горные стремнины! Если вы пойдете по улице Ломон вечером, довольно поздно, в час, когда шумы Парижа пепенеют и засыпают, вы услышите, как над вами все сточные трубы горы святой Жевеве поют тихонько, как далекие водопады. Это водопады моих путешествий.

Что вы хотите? Я почти никогда не покидал Парижа; я ничего не видел, я ничего не знаю, я человек заурядный, человек незначительный, да, да, незначительный. Я не в состоянии вам рассказать ничего необыкновенного. Все, что со мной приключилось, произошло внутри меня. И вы весьма добры, что меня слушаете, меня, которому нечего вам сказать, меня, состоящего из одних пустяков.

Итак, я шел по тротуару. Я был не слишком несчастен. Во мне было приблизительно столько же души, как в куколке бабочки, и я не спешил разорвать свою оболочку. Мне хотелось бы остаться до вечера в этом подобии дремоты, продолжавшей для меня ночь. К несчастью, всякого рода механизмы начинали свою работу, и вскоре приходил конец моему покою.

Чаще всего дело начиналось нелепой историей со счетом шагов. Вы знаете? Гранитные

брусья, образующие обочину тротуара, положены конец к концу. Я шел по ним, сперва не обращая внимания; потом я начал замечать, что через каждые два шага я ставлю ногу на щель, отделяющую эти брусья друг от друга. Тогда, как бы помимо воли, я старался делать ровно два шага от одной щели до другой. Я старался не стараясь, не подавая вида, прежде всего потому, что мне было бы стыдно выставить перед прохожими мою глупость, затем потому, что я был глубоко убежден, что это только игра моего тела, игра, в которой мой ум не принимает участия. И вот где начинается нелепость: приходил миг, когда я не мог больше оторвать свою мысль от этих щелей. Понемногу, являя вид полного безразличия, я прекрасно чувствовал, что удлиняя или укорачиваю шаги для того, чтобы поставить подошву как раз на щель. И я делал это внешне самым небрежным образом, как будто желая спрятать свое движение от самого себя. Такое положение вещей длилось некоторое время, и вдруг я замечал, что воображение начинает понемножку приплясывать. Я говорил себе, — нет, не я это говорил, а что-то, что было во мне не будучи мною, — я говорил себе, что если я не дойду до третьего газового рожка, уделяя ровно два шага каждому гранитному бруску, моя жизнь будет разбита; все, что я задумал, обречено на неудачу. Дойдя до третьего газового рожка, я задавал себе другую задачу,

дойти, например, при тех же условиях, до газетного киоска. Один, другой; один, другой; о-один, дру-угой... Вы понимаете? И бес шептал: «Если все будет благополучно, если ты совсем точно будешь делать свои два шага, с тобой непременно случится что-нибудь хорошее сегодня».

Ах, правда, сударь, можно ли быть таким глупцом? Подумайте, ведь я совсем не суеверен, подумайте, главное, что, совершая все эти ребячества, я не переставал смотреть на себя с презрением и даже, чаще всего, думать о другом.

Иногда это была дурацкая история с пропастью. Я вам объясню, в чем дело. Я стыжусь этого, но раз я вознамерился все вам сказать, я скажу вам все, то-есть не бог весть что, ибо тот, кто попытается объяснить в десяти толстых томах то, что происходит в человеческом сердце в течение одной единственной минуты, тот примет сверхчеловеческий труд.

Итак, я шел по обочине тротуара, очень свободно, очень естественно, не думая ни о чем определенном. Вдруг, я представлял себе — это была скорей мысль, чем настоящее представление — я представлял себе, что справа и слева от узкой обочины находится пропасть и что я должен подвигаться вперед, не отступаясь ни на вершок. Этого было совершенно достаточно, чтобы заставить меня шататься, заплетать ноги, спотыкаться и под конец шагнуть на асфальт или в ручей.

Тогда я чувствовал облегчение: колдовство было нарушено. Я переходил на другой тротуар или на мостовую и добрую минуту не думал больше обо всех этих идиотствах.

Я приходил к какому-нибудь перекрестку. Новое дело! Обилие маршрутов повергало меня в своего рода столбняк.

В былое время, идя на службу, я не знал этих колебаний. Одна только дорога казалась мне возможной: та, которую пяти или шестилетний навык окончательно для меня установил, та, которая была отмечена тысячью знакомых вех. Но в прогулках, о которых идет речь, дело обстояло не так: моя цель была, чаще всего, очень неопределенна, и я не стеснялся временем. Тут я останавливался у угла дома, перед какой-нибудь унылой лавкой. Меня тянуло влево, меня толкало вправо, я был разделен на части, я растекался. Я вращался вокруг самого себя, как судно, которое течение тянет в одну сторону, а ветер влечет в другую. Я закрывал глаза и наугад бросался вперед.

Так вот, даже и таким способом мне, смею сказать, доводилось куда-то приходить. Другими словами, я иногда кончал тем, что оказывался в месте, которое не было любимым местом. Это было, положим, то самое место адвоката, где требовался переписчик.

Я входил, я дожидался в передней, меня направляли к какому-нибудь старшему служащему.

Всегда было-чтонибудь не так: или место было занято со вчерашнего дня, или оно подходило только совсем молодому человеку, или требовались специальные знания, которых у меня не оказывалось.

Иногда «старший клерк» спрашивал у меня рекомендаций с моего последнего места. Я обещал их принести на следующий день и кубарем слетал с лестницы.

Мой день был кончен. Я совершил очередную попытку, она доказывала мне лишний раз, что место найти невозможно. Эта уверенность была как раз тем единственным, чего я искал.

IX

После завтрака я шел в свою комнатку. Мне было в точности известно, что меня там ожидает, но я притворялся перед самим собой, что я ничего этого не знаю.

Ах, сударь, если бы я обманывал самого лютого из своих врагов с половиной того коварства, которое я употребляю на то, чтобы провести себя самого, я был бы поистине мерзавцем.

Я зажигал окурок, развертывал газету, писал какое-нибудь ничего не значущее письмо. Я слушал шум, который производила мать, убирая со стола или моя посуду, и говорил громко:

— Я пойду сейчас наведаться на этот Монружский завод, ты знаешь, мама!

Или:

— Я еще не получил ответа от фирмы Малендуар и Симоннэ. Я иду по плану Парижа...

Вот какого рода глупости я говорил, чтобы ввести в заблуждение самого себя относительно причин, привлечших меня в мою комнату.

Между тем я бросал украдкой короткие взгляды в сторону своего старого дивана. У него был насмешливый и покровительственный вид, как у людей привыкших к победам. Я смотрел на него с отчаянной яростью; он довольствовался тем, что зевал всеми дырами своей обивки.

Я подходил к окну и наблюдал облака с озабоченным видом. Нужно ли взять зонтик? Нет! Я поправлял перед зеркалом узел своего галстука. Я перелистывал свою книжку с адресами и вдруг, не слишком хорошо понимая как это выходило, я оказывался распростертым во всю длину на диване. Спину я слышал, как пружины подавляли оскорбительный смех.

Что нужды! Я был вытянут, прям, как пирага в глубине залива. Я плавал, я ждал течений и ветров. Дьявол моих ночей сжимал мне грудь могучим объятием и, сплетенные, лицом к лицу, мы погружались оба в другой мир.

Пробуждение было отвратительно: это тело, тяжелое как гора, этот противный вкус во рту от плохо переваренной пищи...

Я брал еще раз трость и шляпу и возвращался на улицу.

Минутами я представлял себе с точностью место, которое мне суждено будет отыскать, обрести. Я воображал нелепое счастье: я открою

место секретаря, да, секретаря! У меня будет уединенный кабинет и за окном дерево; я смогу окунуться в его зеленую, ясную, кладбищенскую прохладу. Меня оставят совсем одного; под конец меня даже забудут немножко; я буду жить в глубоком мире, я буду спокоен, спокоен, как бы мертв.

Сударь, вы получите обо мне представление, которое сильно рискует быть неверным. Вы подумаете, что у меня скверный характер, что я человеконенавистник. Я — человеконенавистник! Это нелепость! Я люблю людей, и не моя вина, если чаще всего я не могу их переносить. Я мечтаю о согласии, я мечтаю о гармонической жизни, доверчивой как вселенское объятие. Когда я думаю о людях, я нахожу их столь достойными приязни, что у меня слезы выступают на глазах. Мне хотелось бы говорить им слова полные дружбы, мне хотелось бы излить свое сердце в их сердце; мне хотелось бы принять участие в их планах, в их поступках, занять место в их жизни, показать им, как я способен на постоянство, на верность, на самопожертвование. Но есть во мне что-то слишком восприимчивое, чувствительное, раздражительное. Как только я оказываюсь лицом к лицу не с воображаемыми уже, а с живыми существами, с себе подобными, мне так скоро начинает не хватать храбрости! Я чувствую: душа сжимается, с тела точно содрана кожа. Я только

и стремлюсь снова обрести одиночество, чтобы опять любить людей, как я их люблю, когда они не перед глазами.

Вы видите, я делаю все возможное, чтобы объяснить вам необъяснимые вещи, чтобы показать вам, главное, что если я похож на мизантропа, то именно потому, что слишком люблю человечество.

Может быть, вы мне скажете, что с такой натурой, как моя, следует скорей искать счастья в вещах. Согласен; но необходимо делать авансы вещам для того, чтобы они доставляли нам радость, а у меня чаще всего душа слишком суха, слишком бесплодна, чтобы делать авансы.

Итак я шел по улицам, пережевывая свою жизнь и констатируя почти каждую минуту, что мир ускользает от меня, что я покинут, что я настоящий бедняк, жалкий нищий.

Однажды на улице д'Ульм, на этой мирной улице, я видел мальчишку, тянувшего ручную тележку. Тележка была тяжело нагружена. Мальчуган имел вид лягушки, которая тянет на буксире океанский пароход. Нагнувшись вперед, он налегал всей тяжестью своего тощего тела на грудной ремень, пиливший ему плечи. Одной рукой он сжимал оглоблю, а другой... А! Отгадайте! Другой, он держал книгу и, таща свою тележку, он читал так, что глаза у него вылезали на лоб.

Я не знаю, что он читал; но весь тот вечер

я продолжал испытывать мрачное ощущение зависти и стыда. Существование человечка, читающего в оглоблях, это существование казалось мне полным, богатым, желанным по сравнению с моим, таким пустым и таким посредственным.

Чаше всего мои долгие прогулки по тротуару стоили мне всяких неприятных историй. Лишний раз я называю «историями» то, что не может так называться, то-есть вещи, происходящие исключительно внутри меня.

Я шел ровным шагом. Я был занят всецело старыми мыслями, воспоминаниями, бесформенными снами. Я не смотрел ни на людей, идущих в моем направлении, ни на тех, что шли в направлении противоположном, и вдруг женщина, шедшая передо мной, женщина, которую я даже не видел, оборачивалась с обиженным видом и переходила на другой тротуар.

Вот досадная вещь, я вас уверяю, вот что наполняло меня горечью. Итти прямо по своей несчастной дороге и быть принятым за пристающего, за одного из этих болванов, которые идут по следу. А! Нет! И это просто потому, что, не обращая внимания, я шел, может быть, три или четыре минуты тем же шагом, как эта дурочка. И вот она, вот жизнь больших городов. Надо иметь свой собственный ритм и следить все время, чтобы он не совпал с ритмом кого-нибудь другого. Итти с другим одинаковым шагом это значит уже слегка посягнуть на его свободу,

иной раз оскорбить его стыдливость. Надо жить с миллионами себе подобных, не только делая вид, что их не замечаешь, но еще стараясь избегать их самым вежливым, самым обходительным образом.

Должен вам признаться, что все это мне противно, и поэтому я избираю обыкновенно улицы, где не бывает никого.

Такие улицы редки в Париже и я был вынужден, даже если бы они были менее редки, проходить чаще всего по очень людным местам. Таким-то образом я и очутился однажды вечером, в разгар ярмарки Бельфорского Льва, на бульваре Араго. Я помню этот вечер, потому что я видел тогда очень любопытную вещь, вещь, которую я нахожу очень грустной, и которую вы найдете, может быть, вполне утешительной; до такой степени верно, что ничто не безусловно-грустно само по себе.

Итак, я вам говорю, я шел по бульвару Араго, окаймленному в той его части хилыми, грязными балаганами, отребьем ярмарки. Вы знаете, теми балаганами, где продают зеленый и розовый рахат-лукум, балаганами, где из ружей стреляют по глиняным трубкам, где показывают женщину-рыбу; всё такие вещи, что можно заплакать от скуки.

Вдруг я увидел нечто в роде покрытой заплатами палатки и коленкоровую афишу на ней. Именно тут профессор Стенакс совлекал завесу

с будущего по магнетическому методу. Перед балаганом была группа рабочих, солдат, зевак. Тут был также старый ночлежник, небритый, с седой бородой в клочьях, оборванный, и бог знает с каким выражением голодного отчаяния на истасканном лице. Человек конченый, истертый насквозь, с глазами собаки и ребенка и запахом неизлечимой нищеты.

Так вот, сударь, он вошел в балаган. Он вошел вслед за горничными, чиновниками и мальчишками из лавок. Он с силой сжимал в руке пятак, свое дневное пропитание. Он отдал его с видом беспокойным и нерешительным. Он отдал его, чтобы войти в балаган, где ему расскажут его будущее.

Вот! Вот вещи, которые я видел во время моих прогулок.

X

Я мешкаю, рассказывая вам всякую дребедень, и теряю нить своего дела.

Период, о котором я только что говорил, продолжался примерно до октября. Я не считал дней; я чувствовал, как время скользит и скользит подо мной и больше мне ничего не было нужно. Жить по-настоящему? Я откладывал жизнь до завтра, до того неопределенного времени, когда произойдут события, которые должны со мной произойти! Понимаете?

Я заметил все-таки перемену времени года; посвежело, и мама мне сказала однажды:

— Луи, надо будет тебе одеться по-зимнему.

У меня был летний костюм, старый, орехового цвета, который я очень любил. Заботами моей матери он сохранял некоторое приличие; но он был так истерт, так отполирован, что казался несчастным, обиженным судьбой. Это мне нравилось: одежда соответствовала душе. Я ощущал каждый день заново все складки этого

платья, всё, что в нем потеряло фасон, всё, что было починено; я ощущал все эти изъяны, как привычки, как действительно мои привычки, как изъятия моей внутренней бедности. Благодаря этим кривым брюкам, выпуклым на коленях, благодаря этой выцветшей и горбатой куртке я был уверен, что пройду незамеченным, а это в жизни такое большое благо.

Итак мама заставила меня надеть мою зимнюю одежду, этот довольно теплый жакет, почти черный, который вы видите на мне сегодня; он был едва ли не нов тогда, и я питал к нему отвращение. Впрочем, я не перестал его ненавидеть. Посмотрите на эти дурацкие фалды, которые делают меня похожим на жука. Неужели, чтобы заработать себе на пропитание, человек должен не только отдать свое время, но еще отрешиться от всех своих вкусов, пожертвовать даже своим внешним обликом?

Таким образом я носил этот жакет во время моих хождений и прогулок. Обыкновенно при мне было до смешного мало денег: десять су, пятнадцать су. Со времени потери места я не смел просить денег у матери. Бедная женщина никогда не говорила со мной об этих вещах. Я ходил иногда сделать для нее какую-нибудь покупку и не отдавал ей сдачу. Это был достаточно скромный, достаточно незаметный способ раздобыть себе несколько су, необходимых на разные мелкие надобности. Я не тратил ничего,

поверьте; но время от времени все-таки омнибус, метро, почта.

И вот это подобие нищеты, которое в моей старой одежде мне было довольно безразлично, стало ненавистным теперь, когда приходилось таскать на себе этот шевитовый жакет, этот жакет чиновника побогаче или буржуа. Этот костюм, несоответствующий состоянию моего кармана, стал для меня чем-то в роде невыносимой лжи. Несомненно, что именно этому жакету я обязан всевозможными нелепыми мыслями. И также благодаря ему я начал искать место с энергией более деятельной.

Эта энергия сделалась скоро лихорадочной, не переставая быть безуспешной.

Места! Они как мысли; их находишь, когда не ищешь. Люди, занимающие выгодное и прочное положение, говорят охотно: «Человек с настоящим мужеством, с настоящей решимостью, в конце концов, всегда...» Ах! сударь, до какой степени удача и успех способны делать людей глупыми и несправедливыми!

Начиная с момента, когда я подумал с действительным беспокойством: «ну же! ну! надо найти место!» я стал испытывать темное, но упорное ощущение, что больше я ровно ничего не найду. И в самом деле я больше ничего не находил: я разумею ничего, что я мог бы принять, не роняя своего достоинства.

Стена, стена! Чувствовать, что находишься

перед стеной, очень высокой, очень гладкой, очень толстой, и что эта стена—будущее, и что нельзя ни перелезть через нее, ни опрокинуть ее, ни пробить. Те, кто испытали в жизни только счастье, не смогут понять такое чувство.

Вам без сомнения случалось ждать кого-нибудь вечером на углу улицы, под газовым рожком. Вам случалось ждать час, потом два часа, зная, что ожидаемое лицо, наверно уже не придет, и все-таки продолжать надеяться. Вам случалось изведать это томление и еще то, которое испытываешь, когда уходишь и оборачиваешься через каждые десять шагов, хотя очевидно, что никто не придет; оборачиваешься и идешь обратно, несмотря на уверенность, что это вполне излишне.

Моя жизнь была во всем подобна этому тщетному ожиданию под газовым рожком, в дождь, на углу улицы. Я знал, что всякая надежда бесполезна, и я совершал несколько раз в день действия и шаги, свойственные тому, кто надеется.

Что мне казалось замечательным во время моих скитаний, во время всех этих минут бродячего одиночества, это та исключительная напряженность, с которой я мыслил.

Трудно сказать в точности то, что хочешь: говоря о напряженности моего мышления; я вижу, что не передаю всей правды. Сказать, что я напряженно мыслил, это дало бы повод

думать, что я старался мыслить, что я хотел этого, что я побеждал какое-то сопротивление. Так нет же! На самом деле, что в этом было поражающего, так это как раз пассивность, с какой я мыслил. Меня посещали, меня пронизывали, ошеломляли, насильовали тысячи мыслей; я их терпел, я ничем их не вызывал. Могу ли я сказать, что я мыслил? Могу ли я присвоить себе эту заслугу? Не был ли я скорей бессильным свидетелем, жертвой? Не был ли я скорей опустошенным полем битвы? Нет, поистине я не мыслил; я ничего не делал, чтобы мыслить. Что-то мыслило, не стесняясь, за мой счет, как победитель, располагающийся в завоеванной стране.

Существуют несомненно очень ученые и избалованные судьбой люди, ставящие себе цель думать о каком-нибудь предмете и достигающие этой цели; существуют люди, умеющие направлять свой ум, как корабль, по морю, усеянному бурунами, люди действительно думающие то, что они хотят,—счастливые люди!

Что касается меня, то чаще всего я—русло реки: я чувствую, как катится бурный поток; я его удерживаю в себе, вот и всё. И еще, не будем доверять словам! Я не всегда его удерживаю, этот поток: бывает наводнение.

Понимайте все это как хотите, несомненно одно: пока я блуждал в поисках ненаходимой службы, мой ум становился местом интенсивного брожения.

Тут произошло событие, которое я попытаюсь вам рассказать, которое мне непременно нужно вам рассказать, но о котором я не могу говорить ни легко, ни хладнокровно.

Я возвращался домой. Это был вечер в половине октября. Было, может быть, семь или восемь часов. Шел дождь, дождь, о котором не скажешь, что он падает с неба, потому что он как бы исходит больным воздухом, почвой, вещами, людьми.

В течение этого дня я отказался от двух или трех унижительных предложений, от работы раба, автомата или выючного животного. Я возвращался с улицы Гренель и шел по улице Вожирар. Я перебирал в памяти своей день; он показывал мне свое угрюмое и отталкивающее лицо. Мне нечем было заплатить за омнибус, и я шагал, не спеша, по лужам, по грязи, опьяненный своим унынием и своей горечью.

Когда я дошел до улицы Литтре—видите, я отлично помню место—мне пришла на ум одна мысль. Вот: я узнаю, придя домой, что моя мать скоропостижно умерла.

Должен вам заметить, что не было и нет никакой причины опасаться чего-нибудь в этом роде: моей матери только шестьдесят лет, я не знаю за ней никакого недомогания, она пользуется прекрасным и неизменным здоровьем. Поэтому я могу думать о ее смерти только как о возможности далекой и почти невероятной; от

одной этой мысли у меня глаза наполняются слезами.

И вот в тот вечер, на углу улицы Литтре, я внезапно увидел, что возвращаясь домой и нахожу свою мать мертвой. Я сделал усилие, чтобы прогнать эту нелешую мысль, которая, уверяю вас, не походила на тревожное предчувствие. Нет! Сочетание мыслей, не больше. Я говорю, что сделал усилие, но я быстро заметил, что мысль пришла не одна: в то время как я пытался отогнать ее от себя, всякого рода другие мысли, которые были как бы последствиями первой, напали на меня в порядке и с логикой хорошо подготовленной атаки.

Моя мать умерла. Тогда что? Что происходит?—Похороны.—Я видел похороны, дроги в переулке, кладбище, всё.—А потом?—Пустой дом.—А потом?—Я сам и вся моя жизнь, которую надо начинать заново.

И сейчас же я видел, как моя жизнь начинается заново, не на один лад, а на сто различных ладов. Первая вещь, пришедшая мне на ум, была следующая: существует маленькая рента. Я вам говорил уже о ней, об этой маленькой ренте: двести сорок франков в триместр; доход принадлежащий мне лишь в качестве непередаваемого и неотчуждаемого владения, под которое даже нельзя занять денег, причудливая идея умершего в параличе дядюшки.

Одним словом, есть маленькая рента: восемь-

десять франков в месяц. Хорошо! Я устраиваю свою жизнь; я снимаю комнату и я свободен, — свободен и нищ: хлеб, картофель. Я вступаю в нелюдимое одиночество. К остальному миру у меня больше нет обязательств. Я живу для себя, с горечью. И я ожидаю так, в опьяняющей независимости, того, что должно со мной случиться позже. Ах!

Ах! Я очутился перед Сенатом, внезапно, сам не зная как я туда попал. Я находился перед Сенатом и я снял свою шляпу, мокрую от дождя снаружи и от пота изнутри. Дрожь охватила меня. Я рассматривал с ужасом, при свете фонаря, свои мокрые руки, дрожащие, как руки пьяницы или робкого убийцы. Я зашагал снова вдоль обочины тротуара.

Так вот какой я человек! Я думаю о смерти своей матери; я думаю об этом хладнокровно и тотчас же начинаю устраивать свою жизнь без нее. Я устраняю мысленно свою мать, чтобы располагать маленькой рентой. Вот какой я человек!

Никогда мне не удастся передать вам, что тут произошло. Нечто в роде ссоры разразилось внутри моего существа. Один голос, ясный и разумный, говорил: это нелепые мысли, надо пренебречь ими и прогнать их. Другой, пронзительный, выводящий из себя голос повторял упорно: подлец, подлец. Но отчетливый, наперекор этой сумятице, третий голос благодушно

считал: двадцать франков в месяц за комнату и остается два франка в день на жизнь. Пятнадцать су завтрак, десять су обед; остальное: необходимая одежда, немного книг, свобода.

Фыркнув, я провел рукой по лицу. По щекам у меня струилась вода. Я не думаю, чтобы это были слезы: дождь становился все сильнее и сильнее. Я был сражен, измучен, все было мне мерзко.

Я присел на минуту на каменную стенку, на которую опирается решетка Люксамбургского сада. Мне казалось, что этот отдых мускулов умеряет кипение моих мыслей, если только я в праве называть «моими мыслями» эту гнусную нечисть, с которой я не могу совладать и от которой не могу отделаться. У меня было ощущение, что я понемногу прихожу в себя, что я удерживаю мою душу почти в неподвижности, как норовистую лошадь, которую обуздывают, изо всей силы затягивая поводья. Я подумал медленно, шевеля губами, я подумал отдельно произнося каждое слово: «Если случится, что моя мать умрет...» Тотчас я почувствовал, как горло у меня сжалось от горя, и как живая скорбь, которую я хорошо знал, потому что испытывал ее и раньше, стиснула мне живот. Это дало мне, могу сказать, глубокое облегчение. Я думал еще: «Это совсем произвольная мысль; нет никакой причины, чтобы моей матери вдруг не стало». Нет! не было никакой причины. Я

подумал наконец: «Со мной не может случиться большего несчастья». И вся моя печаль ответила: «Нет! о, нет! Не может быть большего несчастья».

Таким образом я мог думать в течение нескольких секунд, что я вновь приобрел власть над своей душой, вновь стал управлять ею.

Я заметил тогда, что я не один у решетки сада. Человек, старый, жалкий, нищий, в искаленном дождем котелке, приближался тихонько, сторонясь, задевая боками за невысокую каменную стенку. Он говорил тихим голосом: «La Presse! La Presse!» и никто на свете его не слушал.

Я узнал слепого, которого приводят туда каждый вечер. Его голова была немножко склонена набок, немножко запрокинута; его лицо, неподвижное и немое, принимало на себя дождь. Можно было сказать, что он подвигается вперед ползком. В двух шагах от меня он остановился, как будто почувствовав меня, как будто ощутив звук моей жизни. Я смотрел на него и шептал: «Этот, этот! О чем он думает, этот?» Я едва не подошел к нему, едва не сказал ему что-то. Что? Что? Не было, конечно, ничего общего между его пропастью и моей.

Я зашагал опять. Издали, обернувшись, я увидел, что слепой снова начал ползти вдоль решетки, как будто мой уход освободил ему путь.

До площади Пантеона я был более или менее спокоен, то-есть пуст, то-есть покинут всякой мыслью. Подходя к улице д'Ульм, я поймал

себя за счетом: «Пятнадцать су завтрак, десять су обед. Белье я буду мыть сам. Нет больше надобности искать места. Одиночество!»

Я горестно пожал плечами и решил пойти несколько кружным путем, чтобы не сразу возвращаться домой. Это вам доказывает, что на самом деле у меня не было никакого беспокойства: я отлично знал, я отлично чувствовал, что моя мать в безопасности. Это во мне, только во мне ей что-то угрожало.

Я повернул обратно и поплелся в сторону улицы Кловис. Я думал методически и с упорством: «Если продать почти всю мебель, это мне, может быть, позволит сделать маленькое путешествие».

Итак, ничего не поделать! Я думал даже уж не в условной форме, а просто в будущем времени. Ничего не поделать! Я больше не владел своими мыслями. Бесполезно сопротивляться. Бесполезно, главное, скрывать от себя это преступление, мое преступление. Я был не властен мыслить не преступно.

Я быстро шел по маленьким улочкам, которые должны были привести меня на улицу Поде-Фер. Я вошел в свой дом, вполне убежденный в том, что я попрежнему нежно люблю свою мать, но что я совершенно неспособен защитить ее от своего воображения, не дать ее убить во мне, не убивать ее во мне.

XI

Лишенный клеенки, покрывающей его обычно, удлиненный своими двумя выдвижными досками обеденный стол занимал почти все свободное место посреди столовой. Наша старая лампа, лампа с мраморной колонкой, освещала на столе разрезанные и сложенные в кучи куски материи, выкройки из марли, коробки с булавками, катушки. Склоненные к лампе, почти касаясь друг друга волосами, две женщины шили. Это была моя мать и Маргарита, наша соседка, жилетница, о которой я вам говорил.

Я остановился в дверях и, глядя на эту мирную картину, я почувствовал, как мое сердце сжалось.

Моя мать подняла свои ослепленные лампой глаза, поискала в полутьме мое лицо, улыбнулась очень мягко, очень примирительно и сказала:

— Это ты, Луи! Твой обед готов, он на кухне, дитя мое. Я оставила суп греться на малом огне.

Она стукнула два или три раза по столу своим наперстком, как часто делают портнихи, и прибавила голосом, в котором было смущение:

— Мы завладели столовой, ты видишь? У Маргариты слишком много работы, и я ей немножко помогаю.

Я прошел на кухню, ничего не говоря. Да и что сказать? Разве я не понял? Разве это было недостаточно ясно?

Я взял маленькую кастрюльку, где тихонько кипел суп; я сел на свое обычное место между судомойным столом и шкапом некрашеного дерева и начал есть.

Так вот оно, все, что я мог делать: есть! И еще давать приют тысяче ненавистных мыслей, и еще вычислять употребление маленькой ренты. И вот для чего моя мать должна не спать, шить, шить жилеты!

Мне достаточно было одного взгляда, чтобы все понять: Маргариту, куски материи, выкройки, катушки, очки моей матери, следящие в черном сукне бег невидимой нитки. К концу вечера—полтора франка, может быть франк семьдесят пять.

Я не мог удержаться, чтобы не повторять: «Пятнадцать су завтрак; десять су обед»... Мне хотелось выгравировать эти слова на своей коже, вытатуировать их себе в сердце булавочными уколами.

Я съел весь суп, потом чечевицу, которая

там была, потом маленькую колбаску, потом кусок сыру. «Десять су обед!» Я сожрал все, что нашел. Я не измерял больше своего стыда.

Пока я ел, я слышал, как обе работницы беседовали вполголоса. По временам я различал движение, шорох юбки, и на несколько минут шум швейной машины подтачивал молчание. Потом снова наступала тишина, и время от времени слышалось короткое вдыхание воздуха, которое делают женщины, чтобы втянуть слюну, скопляющуюся у раскрытых губ.

Окончив свой обед, я прошел через столовую, не произнося ни слова, не останавливаясь, и вошел к себе в комнату. Снял свои промокшие сапоги. Бросился на диван.

В комнате было темно; в оставшуюся полуоткрытой дверь входило несколько лучей меланхолического света. Это составляло одну из тех картин, что так глубоко живут в воспоминании: светящийся угол пола, два или три предмета, на половину поглощенные сумраком, ребро рамы, застывший и серый призрак занавески.

Я был совершенно покоен. Я был совершенно ясен и холоден. Моим господствующим ощущением была усталость и покорность.

Ничего не поделать! Невозможно отрицать, что во мне живет человек способный строить расчеты на смерти своей матери, человек способный исчислять свое маленькое благополучие, предвидя смерть своей матери. Тем временем

моя мать работает, чтобы прокормить этого человека, чтобы обеспечить его супом, чечевичей, колбаской.

Возникла попытка примирения: «Спокойствие! Спокойствие! Нельзя запретить себе иметь мысли, но что такое мысль? Что более лишено существования, чем мысль!» Я дал было себя убаюкать этой песне, когда появилось одно воспоминание, пробежавшее украдкой, как крыса по жилой комнате. Одно воспоминание: ухо толстого господина; приходит мысль коснуться пальцем этого уха; в конце концов палец коснется этого уха.

Ничего не поделать! Я закурил папироску и растянулся совсем, с раскинутыми руками, с обессиленными ногами, с отдающей грудью... Мясо для своры собак. Нива для саранчи. Падаль для ворон. Площадь открытая всем. Живот девки. Приходите! Приходите! Не стесняйтесь! Делайте, что вам угодно! Что я такое внутри этого? Где я внутри этого?

Было далеко за полночь, когда я встал. Я прошел в столовую. Лампа, хотя и прикрытая, заставила меня зажмурить глаза. Я подсел к столу.

Маргарита убирала жилеты в большой перкалиновый чехол. У Маргариты красивое лицо, немного пухлое, и нежные, точно испуганные глаза, глаза красные от ночной работы.

Моя мать собирала булавки и катушки. Я

взял ее наперсток; я играл им рассеянно: он был теплый; он издавал тоненький запах пота и затхлости.

Мама сказала, разминая пальцы, чтобы они отдохнули:

— Я довольна: мы хорошо поработали.

Аромат кофе примешивался в ночной тиши к едкому и шерстистому запаху тканей. Маленькая комната была полна густым, как бы студеным покоем, где звуки распространялись плохо. У лампы был утомленный вид; ее пламя спало, стоя.

Маргарита поцеловала маму, пожелала мне спокойной ночи и вышла.

Моя мать задвинула засов и вернулась ко мне.

— Надо тебе ложиться теперь, мой Луи.

Я держал одну ее руку в своих руках. Кожа указательного пальца была тверда и усеяна уколами иголки. Моя мать провела другой рукой несколько раз по моему лбу. Эта рука показалась мне прохладной. Я ничего не говорил. Я слышал, как в глубине погреба, биение двух сердец.

XII

На следующее утро я еще лежал, я еще был во власти оцепенения, когда услышал шопот в соседней комнате.

— Вот, вот,—говорила моя мать,—вот, вот, Маргарита! Приносите мне каждый день примерно столько же, как вчера. Мы расположимся в столовой, как вчера; это удобнее.

Уже я был на ногах, и мой ум свободен от сна. Уже я принадлежал весь своим заботам, как гнилая слива, кишачая осами.

Быстрое одеванье. Завтрак. Я чувствовал себя решившимся, не зная толком на что. Мои намерения уже не вполне были похожи на моллюсков; что-то росло у них внутри, твердое, костистое, что-то в роде позвоночника.

— Возьми свое пальто, Луи!

Хорошо! Хорошо! Пальто и сейчас же дверь, лестница, улица.

Было мглистое, слезливое утро. Насыщенные туманом, большие светлые капли катились по

лицу вещей. Люди шли быстро и прямо, как те, кто отлично знают, куда они идут.

Без четверти восемь я был на площади Мобер. Газетный киоск был открыт, но объявление еще не было вывешено. Я начал свертывать тонкую папироску, больше для вида, потом стал ожидать со всеми другими.

Нас было пятеро или шестеро расхаживавших взад и вперед, заложив руки в карманы. Мы разглядывали друг друга исподтишка. Между нами было, казалось мне, родственное сходство: что-то бедное, беспокойное, униженное; какое-то взаимное недоверие тоже.

В восемь часов женщина в киоске вывесила объявление, где были перечислены предложения мест. Мне давно говорили об этом маленьком агентстве под открытым небом; я не решался до сих пор к нему прибегнуть. Я подошел одним из последних, стараясь показать хоть немного безразличия.

На влажном листе, скопированный на гектографе текст читался плохо. Некоторые из присутствующих читали вслух по складам, с трудом, разжевывая, так сказать, слова, медленно поглощаемые их умом.

Номер 12 привлек мое внимание: *«Адвокат ищет особу образованную, молодую, хорошо воспитанную, одинокую, для канцелярских работ. Прислать фотографию».*

Я представил себе рабочий кабинет, немного

темный, устланный большим триповым ковром, с раскаленным коксом, с вишнево-красным огнем в камине, и долгие одинокие полудни, и икание маятника в набитой ватой тишине. Вот как раз то, что мне нужно.

— Двадцать пять сантимов, — сказала женщина в киоске, протягивая мне конверт с адресом номера 12.

Я написал в почтовом отделении старательное, полное достоинства и все же убедительное письмо, письмо убежденное и убеждающее. Слова «образованная особа» меня несколько смущали; но, в конце концов, у меня ведь есть диплом. Я вынул из своего бумажника единственную фотографию, которая у меня была, уже давний снимок, на котором я изображен с вьющимися волосами, едва обозначившимися усиками и с тем особенно меланхолическим и робким видом, какой у меня был между двадцатью и двадцатью пятью годами. Фотографию? К чему это требование фотографии? Неужели есть такие чудачки?

Отправив письмо, я почувствовал себя укрепившимся, довольным. Я представил себе успех, одну из тех счастливых встреч, которые меняют судьбу человека. Начиная с этого мгновения я имел будущее? Будущее? Разве это не мысль, которая является внезапно и которой достаточно, чтобы изменить вкус мира?

Я вам сказал, погода была очень сырая; я провел остаток своего дня в библиотеке св.

Женевьевы, в моем излюбленном углу: на конце одного из столов, в глубине, налево.

Там мне хорошо. С высоких окон падает ясный, одухотворенный свет, который поет на печатных страницах, как смычок на струне. Там всё точно и размеренно, как в мозгу мудреца. Фимиам камня и книг проникает душу и очищает ее.

Итак, я провел в библиотеке весь тот день. На другой день я туда вернулся. Я ждал. К чему предпринимать новые шаги, неправда ли? Тогда как одна удачная попытка, хорошо проведенная...

Когда я возвращался домой вечером второго дня, швейцариха вручила мне письмо. Ответ; уже! Я поспешил подняться до второго этажа, где мотылек газового рожка трепещет в сквозняке.

Я сел на ступеньку со стертым краем, изъеденным несколькими поколениями жильцов, и собрался разорвать конверт. Вдруг моя поспешность мне стала противной. Я принудил себя, мне удалось себя принудить отложить чтение письма до моей комнаты... После, когда я буду совсем спокоен. Мои руки дрожали. Врата своей новой судьбы не открывают дрожащими руками.

Таким образом я довольно степенно поднимался до своего этажа. Моя мать и Маргарита работали в столовой. Я уделил время на то, чтобы поздороваться с ними, снять пальто,

зажечь лампу и пройти к себе в комнату. Я затворил дверь и положил письмо на стол. Пришла минута вскрыть это письмо и узнать. Нет! Нет еще! Я разулся, так как никогда не остаюсь обутым у себя дома, в своей дыре, в своей норе. Я надел свои старые туфли, потом скрутил папиросу. Время от времени я бросал косой взгляд на письмо, которое лежало тут, как что-то ровно ничего незначащее и которое заключало в себе просто-напросто будущее, мое будущее. Я еще ждал. Я констатировал, что могу ждать, и начинал чувствовать от этого некоторую гордость; я начинал гордиться собой; я начинал составлять о своем характере лестное мнение.

Это мнение не успело укрепиться. Внезапно я бросился на письмо и, открывая его, я заметил, что мои руки дрожат, чего я так хотел избежать. Они так сильно дрожали, что я чуть не разорвал и конверт, и его содержимое.

Содержимое? Я узнал сперва мою фотографию, потом мой почерк, мое письмо. Поперек страницы несколько слов синим карандашом: «Требуется секретарь женщины. Возвратить письмо и фотографию этому молодому человеку».

Я привык к обманутым надеждам, но этот ответ наполнил меня внезапно таким удивительным стыдом, что я почувствовал, как краснею до слез. Сразу я вспомнил столь особенный текст объявления: «Молодая особа...

хорошее воспитание... одинокая... прислать фотографию». Как мог я не понять? Как мог я до такой степени обмануться? И я послал свою фотографию! Я! За кого меня должны были принять?

Я перечел свое письмо. Его выражения, казавшиеся мне третьего дня столь ясными, показались мне теперь допускающими самые двусмысленные толкования. Снова краска залила мне лицо. Боже! Как я был глуп, глуп, глуп! И смехон, о!.. смехон!

Перед глазами—стена, такая же прямая, такая же гладкая, такая же холодная, как когда бы то ни было. Ничего не поделать! И, главное, эта храбрость, такая шаткая, такая хрупкая! И так мало оснований к самоуважению. И этот водоворот мерзостей, пронизывающий душу. Эта борьба! Это поражение!

Вдруг мать позвала меня:

— Луи, иди обедать, мое дитя.

Мог ли я жаловаться? Смел ли я жаловаться? Разве у меня не было матери? Разве у меня не было чем пообедать? Разве у меня не было этой маленькой комнаты, этого глубокого и тайного убежища, этой раковины? Ах! Улитки не знают своего счастья.

Столовая была занята под швейную работу, и мы пообедали на кухне. Со вчерашнего дня Маргарита, чтобы выиграть время, обедала с нами; они устроили это с моей матерью.

Я вам немного говорил о Маргарите. Так вот, если вы ничего не имеете против, не будем говорить о Маргарите.

Она сидела на одном конце стола; я на другом; судомойный стол у меня был слева и шкаф некрашеного дерева справа: мое настоящее место в жизни. Мама находилась между нами и время от времени оборачивалась, чтобы посмотреть за тем, что варилось на газовом огне.

Женщины продолжали свой дневной разговор, разговор бесконечный, как их работа. Эта беседа была похожа на монолог, так Маргарита и мама были похожи. О! Не по внешности, но сердцем, каким-то навыком выносить жизнь.

Я не говорил, я не слушал. Одно слово однако, слово «несчастье», это слово, постоянно повторяющееся в женских речах, зацепило мой ум мимоходом. Я открыл рот и сказал что-то очень обыкновенное, я сказал приблизительно:

— «Несчастье, несчастье!» Только бы оно не продолжалось слишком долго, а то ему нет оснований не продолжаться всегда.

Моя мать подносила ко рту ложку супа, которую она опустила обратно в тарелку. Она покачала головой, не глядя на меня, и сказала впоголосо, как бы про себя:

— Вот! То, что он сказал, это — его отец, совсем его отец.

О! Нет! Нет! Сознаться, что есть от чего

прийти в отчаяние. Если теперь отец начнет вмешиваться в мои дела!.. Если мой отец, которого я не знал, если другие люди, о которых мне ничего неизвестно, начнут вмешиваться в мою жизнь, сознайтесь, что есть от чего сойти с ума. Я и так не нахожу самого себя, но если мне придется искать себя в какой-то толпе, в какой-то свалке,—я отказываюсь, я отказываюсь!

Излишне вам говорить, что я думал все эти вещи, но что я не произнес ни слова.

Тем не менее часть моих размышлений должна была отразиться на моем лице: подняв глаза, я встретил глаза Маргариты, глаза столь полные упрека и, показалось мне, сострадания, что я сразу остановился, то-есть я перестал думать, как я думал, я перестал катиться по своей наклонной плоскости.

Если земля, которая движется одна среди пустоты, встретила бы вдруг мысли другого мира, она так же удивилась бы, вероятно, как я удивился в тот вечер.

XIII

На следующий же день, утром, немного раньше восьми часов, я снова начал кружить в виду киоска площади Мобер. По правде сказать, я ни на что не надеялся, мне просто хотелось делать что-нибудь, бросить кость своей раздраженной совести. Делать что-нибудь, да! Всё равно что; всё лучше, чем это постоянное созерцание своего нутра.

Афиша появилась. Я пробежал ее унылым взглядом. Мало-по-малу те, кто ее расшифровывали вместе со мной, ушли, и я скоро остался один. Нет, не один. Кто-то позади меня заговорил. Зюзюкающий, больной, точно изъеденный червями, голос произносил:

— Знаем мы все это! Ничего действительно заслуживающего внимания во всем этом! Избитые штучки, прокатывающиеся уже три недели по всем парижским бюро. Я иду на rue des Halles.

Я не особенно склонен завязывать разговор с людьми, которых встречаю на улице. Я делал

вид, что не слышу этого голоса, шептавшего у меня над ухом. Я погрузился в чтение афиши и старался не оглядываться.

Тогда голос начал снова:

— Вы не пойдете на rue des Halles?

Эти слова были сказаны таким заискивающим, таким робким, таким грустным тоном, что я обернулся.

Вы, может быть, знаете этого человека; его часто встречаешь в нашем квартале, и я припомнил, что видел, как он бродил по маленьким улицам в окрестностях Пантеона.

Он низенького роста. Длинное туловище, короткие ноги. Худоба животных, которых плохо кормят. Большое синеватое бельмо на правом глазу; слипшиеся ресницы, увядшие веки. Волосы без определенной окраски, волосы несовместимые с каким бы то ни было видом социальной удачи. Опущенные вниз, рыжие, жесткие усы. Подбородок четыре дня не бритый и у которого неизменно такой вид, как будто он не брит четыре дня. Бесчисленные веснушки на коже цвета хлебного мякиша. Целлюлоидовый воротник мучительной белизны. Волосатые руки с обгрызенными ногтями. Длинная одежда, которая должна быть сюртуком и которая все-таки только жакет. Перезрелые сапоги, которые под внутренним давлением симметрических мозолей лопнули. Котелок продавленный, но чистый. Матерчатый портфель под мышкой.

Он не решался как будто, но затем проговорил еще раз слегка обескураженно:

— Пойдемте же на rue des Halles со мной.

— Что там такое, на rue des Halles?—спросил я наконец.

— Как! Вы там никогда не бывали? Вы не знаете агентства Баруэн по переписыванию адресов для бандеролей?

Я удивленно покачал головой: я не знал агентства Баруэн.

— Пойдемте на rue des Halles,—сказал примирительным тоном мой странный спутник.—Пойдемте! Это вас ни к чему не обязывает. Если вам не понравится, вы будете вольны уйти или не приходить в другой раз. Я очень удивлен, что вы не знаете агентства Баруэн. Там вы всегда можете быть уверены, что заработаете двадцать пять су; а то и тридцать су, если вы пишете скоро.

Он посмотрел на меня своим единственным глазом с боязливой настойчивостью и прибавил:

— Вы ведь канцелярский служащий.

Конечно, я канцелярский служащий; но я никогда бы не подумал, что это так заметно, и я почувствовал нечто в роде унижения.

Он сказал еще:

— У вас, должно быть, хороший почерк, и вы должны работать быстро. Вы можете сделать и тридцать су; но поспешим, а то мы не найдем места. Агентство Баруэн порядочная дыра; все-

таки, когда оно нам нужно, мы можем извлечь из него пользу.

«Мы!» Это слово кольнуло меня, и я почувствовал легкое волнение. О! Я вам уж говорил, я не горд. Мне не показалось странным, что этот человек говорит «мы». Я почувствовал однако, что это «мы» завербовывает меня в какое-то жалкое братство. Я захотел испытать вкус этого «мы» на своих собственных губах и ответил со спокойной горечью:

— Еще бы, это счастье для нас, что существует такое место.

И я дал себя вести. Мой спутник начал говорить, с болтливостью человека привыкшего к одиночеству, когда он найдет наконец благосклонное ухо.

— А я, я — секретарь, то-есть я был секретарем. Сейчас без места. Меня зовут Люилье. Я вам сразу это говорю, хотя обычно не называю своего имени: оно причиняло мне неприятности. Я ищу места, где бы можно было немножко поработать. Это очень трудно: Париж не так велик, как думают.

Он шел рядом со мной; между концами фраз я слышал его короткое и хриплое дыхание, как у человека, мучимого неизлечимым бронхитом. Он кашлял впрочем и плевал почти безостановочно.

— Не хотите ли скрутить папироску? — сказал он, протягивая мне тюрик табаку.

Когда мы закурили папиросы, он улыбнулся худосочной улыбкой:

— Это табак «Мобер»: мой сосед по ночлежке собирает окурки; он работает для оптовика в тупике Мобер. Конечно, это табак мешанный, но обычно не плохой и мягкий; может быть оттого, что частью он промыт дождем. У оптовика в тупике Мобер я видал иногда кучи табаку! Кубический метр, по крайней мере, в углу комнаты. Спрашивается, сколько надо окурков, чтобы получились такие горы? Ну, что ж, это все-таки табак, и недорогой, знаете ли!

Я курил свою папиросу с некоторым ужасом. Что тяжело в нищете, так это ученичество, а я был еще новичком. Я смотрел время от времени на своего спутника и думал: «Вот! вот! Через десять лет я буду, как он».

Человек семенял со мною рядом и, не переставая, говорил. Его поношенный голос сохранял, благодаря зюсюканью вероятно, ребяческие и нежные ноты. Он часто смотрел на меня, и так как он низкого роста, его взгляд поднимался, чтобы дотянуться до меня; единственный глаз бросал тогда в меня свой влажный и умоляющий свет, от которого сжималось сердце.

Мы добрались до rue des Halles, где все дома кажутся пропитанными омерзительным запахом тухлой капусты. Мой спутник остановился перед воротами.

— Я вам покажу дорогу,—сказал он,—раз вы здесь никогда не бывали.

Мы вошли во двор, загроможденный ручными тележками, ящиками и какими-то безыменными предметами; потом на лестницу, такую черную и вонючую, что она казалась прорезанной в глыбе грязи.

В первом этаже мой, уже запыхавшийся, спутник схватился за дверную ручку.

— Это здесь. Войдем скорей и поменьше шуму, из-за макаки.

Мы вошли. Представьте себе большой зал, освещенный тремя мутными и слезящимися окнами. Школьный зал, но для ветхих школьников, для жалких призраков школьников.

Представьте себе, что на класс мальчуганов пятьдесят лет нищеты, болезней, лишений, невзгод обрушились внезапно как гроза, — и вот агентство Баруэн за работой.

Илистая тишина, состоящая из придушенных попотов, кашля, астматических дыханий и шарканья подошв по мокрому полу.

На стенах цвета мочи только ручейки воды, образованные сгущенными испарениями всех присутствующих.

На кафедре, потому что есть и кафедра, нечто в роде надзирателя, дядя, весь ушедший в седые усы, в затылок и в челюсти. Лба нет: волосы до бровей; в глубине всей этой щетины кровавые, горящие глаза, как две головешки в зарослях.

— Скорей! Скорей! — сказал мне мой спутник,—есть два места, там, у окна.

Мы сели рядышком на конце скамейки. Люилье открыл свой матерчатый портфель и вынул две вставочки.

— Берите, вот для вас. А теперь идите скорей, просите бандеролей у макаки.

Макакой было это подобие унтер-офицера, восседавшее в конце зала. Он мне вручил маленький список и пачку чистых бандеролей.

— Вам нужно будет только,—сказал Люилье, переписать адреса вашего списка на бандероли. Начинайте!

Я начал...

Я не очень хорошо понимал, что со мной произошло, что я тут делал. Я был ошеломлен, я отупел. Я испытывал сильнейшее желание сбежать, очутиться снова наедине с собой в пустынной улице. Я противился этому желанию. Я думал, стиснув зубы: «Нет! Нет! ты здесь и ты тут останешься. Что? Это — начало падения. Это только первый глоток. Глотай, глотай!»

Главное, я старался не выказать своих настоящих чувств, ничему не удивляться, не казаться оскандаленным ничем. Как бы то ни было, ход моих мыслей не мешал моим пальцам двигаться: я списывал, списывал; я складывал заполненные бандероли направо от себя, параллельно пачке чистых бандеролей.

Иногда я на секунду останавливался и поднимал глаза, не смея поднять голову. Запах людей двигался и хлопал, как слякоть лужи, в которой топчется скот. Вы, может быть, не заметили, что все естественные зловония затмеваются смрадом человека. Тоже ведь признак царственности, неправда ли? Запах, который я вдыхал, казался составленным из целого ряда других: запаха школы, казармы, богадельни, больницы, наверно и тюрьмы, уж я не знаю!

Я думал: «Вот отныне мой запах, никогда я больше не отделаюсь от этого запаха».

Время от времени надзиратель делал знак бритому, с тонзурой, как у священника, старичку, работавшему в первом ряду. Тотчас же старичок вставал с поспешностью лакея и подбрасывал лопатку кокса в крошечную печурку, увенчанную кастрюлькой.

Я оставался в пальто, чтобы спрятать жакет, я стыдился его чистоты. Слева от меня Люилье работал. В его движениях была торопливая и трепещущая неловкость, как в его болтовне. Его пальцы заканчивались венчиком воспаленных заусениц, которые он изредка покусывал и отрывал концами зубов. Я заметил, что при своем единственном глазе он был, должно быть, очень близорук; он налегал всем телом на свою работу; его ус подметал стол быстрым и ровным движением. В определенную минуту он выпрямился, чтобы плюнуть себе под ноги. Тут он посмо-

трел на меня и улыбнулся мне улыбкой столь детской, столь чистой, столь полной приязни, что я почувствовал, как сердце у меня согрелось от нее.

Я снова взялся за работу, спрашивая себя, как могла такая улыбка расцвести в таком месте.

Около полудня собрание всколыхнулось немало. Старичок из первого ряда вышел и вскоре принес надзирателю ломоть хлеба и «порцию» в посудине, покрытой перевернутой тарелкой.

Многие отодвинули свои пачки бандеролей на край стола и начали есть. Запах сыра и колбасы поплыл от стола к столу, потом гул разговоров.

Несколько человек вышло. Те, кто уходили совсем, возвращали бандероли макаке и рассчитывались с ним. Слышался звон медяков, иной раз легкое звяканье серебряной монетки.

Появились новые лица. Свободных мест оставалось очень мало. Уходящие заменялись другими. Все, очевидно, знали местные порядки. Наблюдалась какая-то смешанная дисциплина: школа, казарма, больница, тюрьма.

Люилье отодвинул скамью и встал на свои короткие ножки.

— Пойду, — сказал он, — принесу себе поесть. Если хотите, я принесу и для вас. Чего бы вы хотели кроме хлеба на два су? На три су жареной картошки или на три су рыбок?

Я ответил:

— Картошки, пожалуй.

Люилье продолжал стоять передо мной. Он улыбнулся еще раз и, нагнувшись ко мне, сказал:

— Если вы ничего не имеете против, дайте мне ваши пять су.

Он закончил с тоненькой улыбкой:

— Извините: сегодня я не в состоянии сделать аванс.

Пока я ему передавал пять су, бормоча какое-то извинение, он шептал мне на ухо:

— У меня есть бутылка для воды. Знаете... поверьте мне, не заговаривайте с этим субъектом на конце стола: это человек несерьезный. Я его знаю, он ночует в тупике Мобер. Он вам не пара. Он приходит сюда только в дождливые дни. В другие дни он торгует из-под полы какой-то дрянью. Так! Присмотрите за моими вещами, я сейчас приду.

У меня не было ни малейшей охоты говорить с людьми, которые меня окружали. Я даже не смел посмотреть им в лицо. Я продолжал переписку до прихода Люилье. Мы поели.

— Картошка, это вкусно,— сказал мой спутник.— Но рыбки, это лучше наполняет желудок. Я предпочитаю рыбки.

Остаток дня прошел так же, как утро, то-есть с крайней, вызывающей отчаяние, медлительностью.

Во дворе был писсуар. Я ходил туда неоднократно и каждый раз, услышав шум улицы, я испытывал желание сбежать, бросить все, как есть: бандероли, макаку, мою шляпу, оставшуюся на столе. Только память о Люилье меня удерживала, приводила обратно каждый раз.

В четыре часа, когда потемки упали со стен, как пыльная паутина, зажгли три газовых рожка. Раздражительные огни запрыгали в слюдяных трубках с мягкими хрипами, чиханьями, удушьями. Склоненная голова Люилье бросала на стол круглую и черную тень, в которой его перо выбивалось из сил, спотыкалось, фыркало.

Было, примерно, без четверти семь, когда Люилье вдруг сказал мне:

— Готово! Я кончил. Буду помогать вам.

И тотчас же он забрал часть моих бандеролей и стал мне помогать. Он писал лихорадочно, поворачивая свой глаз то к перу, то к списку, лежавшему между нами. Большие пятна лиловых чернил засыхали на его исковерканных пальцах.

Он сложил мою работу так же, как раньше свою: одну пачку бандеролей на другую, крест накрест, по каким-то таинственным разрядам.

Надзиратель отсчитал мне двадцать четыре су. Выручка Люилье достигала полутора франка. Казалось, он был немножко сконфужен этим и счител нужным извиниться:

— Когда у вас будет навык...

Мы снова пошли по rue des Halles. Под мелким дождем асфальт становился липким, и усиливался едкий запах гнилых овощей, который не что иное, как самое дыхание этих мест.

Люилье вынул свой тюрик табаку.

— Папироску?

Я почувствовал бесконечное малодушие и отказался, солгав:

— Я курю так мало!

Мой спутник торопливо шел следом за мной. В его походке было что-то припрыгивающее и вместе с тем волочащееся: усталость и ребячливость. Он говорил безостановочно, как утром. Я не всё слышал: шум улицы и сумятица моих мыслей заслоняли от меня большую часть его слов. Одно слово однако, слово «будущее» всплывало среди этих спутанных речей, как пробка в пене водопада.

— В настоящее время, — говорил Люилье, — я ночую в общей комнате, в ночлежке тупика Мобер. Это мне не по душе: я не могу там работать для себя. Но если я найду место, я сниму комнатку. Мне столько надо сделать!

И он мне говорил о своих планах вплоть до тупика Мобер.

Тупик был наполнен подводным мраком. В самой глубине вздрагивал фонарик; на потускневшем стекле можно было прочесть слово «гостиница».

Люилье остановился. Продолжая говорить, он топтался на месте, и я слышал, как подошвы его сапог то вбирали в себя грязь, то выплевывали ее обратно.

— Скажите, — прошептал он вдруг, беря меня за руку, — скажите, вы еще пойдете на rue des Halles, вы еще пойдете со мной?

И он прибавил тихим, жалобным, изменившимся голосом:

— Я так скучаю!

Я чувствовал, как в моих пальцах дрожала его рука с ее влажной ладонью и волосатой поверхностью.

Я обещал вернуться, я даже обещал вернуться завтра же. Я пристально посмотрел на Люилье, которого прерывистый свет фонаря освещал толчками, и ушел. Он провожал меня своим единственным глазом, пока я не завернул за угол.

Я не спеша стал подниматься по улице Горы св. Женевьевы. Подъем пригибал меня к земле. Я чувствовал себя постаревшим, уменьшенным, пришедшим в упадок, подмываемым тоской, похожей на страх. У меня не хватало смелости вернуться домой: мне казалось, что я нес в моей одежде, в моей коже, в моей душе запах агентства Баруэн. Я пережевывал обрывки нелепых мыслей: «Я, — нет, я не таков, чтобы быть несчастным на его лад». Очевидно, у меня есть свой способ быть несчастным, способ, который я сам выбрал, по моему вкусу, да, да!

Должен вам сказать теперь же, что я принял твердое, свирепое решение скорей умереть с голоду, чем когда-нибудь вернуться в агентство Баруэн.

Что касается Люиле, мне совестно вам признаться: я его иногда еще встречаю в этих местах и как только замечу его издали, перехожу на другой тротуар. Я уверен, что он меня не узнаёт: он слишком близорук. И потом, и потом... я, вероятно, недостоин этого человека.

XIV

Я несколько раз болел и всегда довольно тяжело. Я прощаю болезням ради выздоровлений. Жить! Жить! Меня смешит это слово. Оживать, вот что хорошо! Выжить—вот что значило бы, вероятно, жить. Во время моих выздоровлений, мне кажется, я действительно жил.

Должен вам сказать, что очутившись опять у себя, в глубине своего дивана, в своем убежище, я испытал краткое ощущение выздоровления. Я был еще собой, то-есть Салавеном, то-есть бедным человеком; но я не был больше тем, чем я был весь день: личиной, обломком, отбросом.

Моя мать и Маргарита ожидали меня с обедом. Когда я оказался снова на кухне, теплой и чистой, я не мог не отдаться уюту, не ослабить своего напряжения, не уступить усталости.

— Луи,—сказала мама,—какой у тебя утомленный вид.

В ответ я неопределенно пожал плечами. Опустив голову, я пересчитывал кончиком вилки бобы, раскинутые на цветах тарелки. Наша пища — излишне вам это говорить — была совсем простая; но она имела особый, присущий маминей стряпне, вкус, — вкус, который мне было бы совершенно невозможно вам объяснить, вкус, который я узнал бы среди тысячи других, как лицо.

Моя мать продолжала:

— Ты слишком устаешь от этих поисков. Выпей сейчас с нами немножко кофе.

Я улыбнулся в знак согласия. Я никогда не буду взрослым для моей матери. Когда она видит, что я в тоске, в унынии, она шепчет: «Хочешь кусочек шоколада?» Если бы я был генералом и проиграл сражение, мама мне сказала бы: «Не плачь, мой Луи, я приготовлю тебе крем с жженым сахаром». И знаете, удивительнее всего, что кусочек шоколада или крем с жженым сахаром действительно обладают тогда всеми свойствами, которые бедная женщина им приписывает.

Но довольно об этом. Лучше я расскажу вам одну странную вещь. Уткнув нос в тарелку, я слушал разговор моей матери и чувствовал, как в меня проникает новое, неопределенное беспокойство.

Я привык жить на глазах у мамы. Я привык к ее взгляду, который меня окутывает, прони-

зывает, скользит по моему лицу, бродит в моих волосах, как рука, как дыхание.

И вот в тот вечер я не смел поднять голову, потому что отлично чувствовал, что не один этот взгляд следит за вздрагиванием моих рук на клеенке, считает капельки пота, проступающие у меня на висках, читает в моих чертах смятение моего сердца.

Я поспешил сложить салфетку и пошел к себе в комнату.

Я, кажется, не говорил вам еще, что играю на флейте. О! я, конечно, преувеличиваю, говоря, что «я играю». У меня есть деревянная флейта; товарищ по полку научил меня с ней обращаться. Я работал два года в свободные часы; этого достаточно, чтобы читать страницы средней трудности. Потом я перестал работать и, следовательно, совершенствоваться. Итак я играю плохо. Вы это предвидели: будь я способен делать совсем хорошо что-нибудь, что бы то ни было, я был бы другим человеком.

Досадно только, что из-за отсутствия упражнения, техники, из-за отсутствия постоянной работы одним словом, я играю неловко, по-детски вещи, которые прекрасно чувствую. Должен сказать, чтобы остаться справедливым к самому себе, что я страстно люблю музыку и что ей я обязан моими самыми благородными волнениями. И однако, даже когда я прилагаю все старания, может показаться, что я ничего

не понимаю в том, что исполняю, тогда как Удэн, например, тоже играющий на флейте, Удэн, который в общем ничего не смыслит в музыке, но у которого есть навык, есть техника пальцев, без труда производит впечатление, что у него есть и душа.

Одним словом, в тот вечер я начал играть на флейте, сперва тихонько, а потом полным дыханием. Я слышал, как мама говорила:

— Вот, вот, Луи, поиграй немножко! Так давно...

Итак я играл. Я зажег лампу и пристроил свои нотные тетради на комод, прислонив их к вазе синего стекла.

Я играл старательно, тщательно сжимая губы и размеряя дыхание, заботясь о красоте звука; и часть моих усилий улетала, казалось мне, из-под моих пальцев и растворялась в воздухе вместе с вибрациями инструмента. Я играл вещи самые мне знакомые, которые я люблю издавна, которые сплелись со всеми моими мыслями.

Скоро я заметил, что после долгого молчания женщины в соседней комнате тихо заговорили снова. Это вызывало легкий и непрерывный шорох, которого я не мог не слышать играя.

У меня нет никакого таланта, разумеется, но, как нелепо это вам ни покажется, я почувствовал себя уязвленным. Я не сердился на мою мать, я сердился на ту, другую, да, на Марга-

риту. Я сердился, что она не наслаждается этими столь прекрасными вещами, которые я играю так плохо и которые я играл все-таки немножко для нее. В ту минуту я объяснял свою досаду тем, что слушательницы не проявили достаточно уважения к искусству, к мастерам. Должен признаться однако, что главную роль тут играло мое тщеславие, тщеславие и другие смутные чувства, о которых не пришлось время говорить. Впрочем, если я вхожу во все эти подробности, так это только для того, чтобы показать вам, что у меня немало оснований судить себя строго.

Я отложил флейту и вошел в столовую. Я сел сперва против камина, потом пересел на другой стул, чтобы не видеть в зеркале этого лица, которое иногда так мне не нравится: моего бедного лица.

Облокотясь на стол, подперев ладонями щеки, я оставался так долгие минуты, глядя, как обе женщины работают. Маргарита прошептала, не отрывая глаз от шитья:

— Как это прекрасно, то, что вы сегодня играли!

Я криво улыбнулся, отвечая:

— Да, это прекрасно, но я играю так плохо!

Она сказала, прищуриваясь перед лампой, чтобы продеть нитку в иголку:

— О! совсем нет! Вы не играете плохо.

Я был ей благодарен за эти несколько капель бальзама, пролитых на мое самолюбие, и

особенно за тон, которым она произнесла эти слова. В конце концов она прекрасно могла слышать то, что я играл, подавая в то же время реплики моей матери, к которой она относится очень почтительно.

Маргарита шила очень быстро с непрерывным вниманием глаз и пальцев. Чтобы не терять времени, должно быть, она избегала сморкаться, так что дышала ртом и тянула носом легонько и часто. Это мне было не неприятно, что весьма удивительно. Я смотрел, как Маргаритины пальцы двигались взад и вперед; я видел тень, которую отбрасывала на ее щеку непокорная прядь, выющаяся у нее возле уха.

Я цепенел в теплой лени. Я чувствовал, как отодвигаются в полное снисходительности прошлое события и лица моего дня: Люилье, агентство Баруэн, надзиратель, торговец из-под полы.

Я пошел спать гораздо раньше портних. Мои последние мысли были успокоительны: ничего не потеряно; четыре месяца праздности — не бог весть что; нет человека, с которым этого не случилось бы хоть раз в жизни; все придет в порядок; мама забудет это грустное время, и Маргарита не слишком меня осудит.

Я заснул, убаюканный этими мыслями.

Посреди ночи я внезапно проснулся, думая о Люилье. Это не был сон. Тем не менее все проходившие сквозь меня мысли имели тот

неестественный, искаженный, страшный облик, который ночное размышление придает для меня самым простым вещам.

Я перебрал один за другим все мои вечерние выводы. Они показались мне бессмысленными. Снова положение стало безвыходным, и, когда на следующий день я встал с постели, я чувствовал себя более жалким, более презренным, более виноватым, чем когда бы то ни было.

Одно все-таки оставалось в моем уме решенным: я не вернусь больше в агентство Баруэн. Я подожду, я поищу в другом месте; я просуществую пока работой мамы, но я не вернусь в агенство.

Макая ломтик хлеба в кофе, я укреплялся в этой полной отчаяния уверенности: «Вот, ты человек без мужества, душа без сопротивления, сердце без гордости. Вот!»

Я думал эти мысли, я только думал, изо всех сил. И вот произошла невероятная вещь, которая потрясла меня. Моя мать вдруг сказала громко:

— Да нет же, нет, мой Луи!

Что? Почему это «нет»? Уверяю вас, что я всего только думал. Уверяю вас, что я даже не пошевелил губами.

Тогда мама взяла мои руки и стала их ласкать. Она мне говорила такие добрые слова, такие разумные:

— Ты выбиваешься из сил с твоими поисками. Это дурное время. Пережди его. Спешить нечего. Отдохни. Успокойся. Повидай своих друзей.

Уверяю вас, что я не открыл рта, не сделал ни малейшего жеста.

Моя мать повторяла, целуя мне руки:

— Повидай своих друзей.

XV

Мои друзья! У меня нет друзей. Нет! У меня есть друг, у меня есть Лану! «Друг» это не тоже самое, что «друзья» для честолюбивого сердца.

У меня есть кое-какие родственники, неопределенные и дальние. Знаете, такие родственники, что скорей боишься, как бы о них не заговорили. А! если бы у меня был брат, хороший брат. Но что? Если бы он был непохож на меня, мы не могли бы понять друг друга, а если бы он был похож, я не уважал бы его. Впрочем, напрасно тревожить эту мечту: у меня нет брата.

Вернемся к друзьям. Среди них есть такие, которых я не прочь был бы любить, но они терпеть меня не могут; есть такие, которые охотно ищут моего общества, но их общество мне невыносимо.

Оттого, что я решил сегодня ночью рассказать вам свою историю, не думайте, что я обычно красноречив. Я молчаливый человек; по крайней

мере, если я правильно понимаю то, что говорят обо мне, я должен быть молчаливым. Заметьте, я очень осторожен в выражениях, говоря с вами. Не думайте, что я настолько глуп, чтобы приписывать себе добродетели, когда я чувствую к себе одно отвращение.

И в самом деле, почему бы вам не счесть меня глупцом?

Это невероятно: но в ту самую минуту, что я себя осуждаю, мое проклятое тщеславие устраивается так, чтобы в общем банкротстве соблюсти свои маленькие выгоды. Как тут быть искренним, когда язык только для того и существует, чтобы предавать наш ум?

Еще неизвестно, кроме того, можно ли молчаливость назвать добродетелью. Если у женщины веснушки, она утешается, говоря: «Это потому, что у меня нежная кожа». Подобно этому и люди, которые, как я, лишены всякого ума, всякого блеска, всякой находчивости, извлекают выгоду из своего убожества и заявляют: «Я молчалив», что означает: «Я сосредоточенная, серьезная, замкнутая душа, душа замечательная, одним словом».

На самом деле, я обязан этой стороне своего характера тем, что в какой бы среде я ни вращался, всюду меня принимали за дурака.

Весьма достойно сожаления, что гениально одаренные люди не бываю в то же время дураками. Людям, призванным наблюдать, изу-

чать себе подобных, оказывают в этом деле дурную услугу их разум и их репутация. Я думаю, что им реже, чем другим, удастся захватить природу врасплох. При их приближении те, кого они собираются изучать, окостеневают в определенной позе, как у фотографа, и стараются прежде всего дать о себе выгодное впечатление.

Перед дураком, наоборот, стесняться незачем. Разве стесняются показаться голым перед своей собакой? Если бы собаки и дураки понимали, что им показывают, они заболели бы с тоски.

Что до меня, то наблюдать людей не мое ремесло, и я предпочел бы не пользоваться своим горьким преимуществом: быть свидетелем нестоящим внимания. И если бы мне пришлось выбирать между безрадостным опытом, который я с каждым днем против воли накопляю, и соблазнительной ложью, которой меня не считают нужным угощать, я бы наверное высказался за ложь. К несчастью, мне выбирать не приходится.

Удэн, мой прежний сосед по канцелярии, о котором я упоминал уже в двух словах, это образчик хорошего среднего ума. Он нормандец, сухой и быстрый, раздражительный, нервный, — особая разновидность расы. Сине-зеленые глаза, то смеющиеся, то ледяные. И ответ, как удар хлыста.

Ах! Вот кого я хотел бы любить! Но зачем

эта потребность властвовать и эта пожирающая страсть по всякому поводу совать людей себе «в карман», вместо того, чтобы носить их просто-на-просто в сердце.

Он говорит повелительно, быстро, он нередко бывает резок. Он понимает один только спор: в свою пользу, и никогда не хочет соглашаться. Ба! Все это я бы ему охотно простил. Что менее приемлемо, это проявляемая им склонность оставлять людей в дураках, я хочу сказать, его привычка спекулировать на глупости собеседника. У него столь непосредственное чувство своего очевидного превосходства в споре, что, одолевая меня, он считает излишним соблюдать приличия. Ему недостаточно победить меня, он спешит, он хочет получить меня по дешевой цене. Под своей грубо учтивой оболочкой его речи полны оскорбительных умолчаний и язвительных оговорок, понять которые он меня считает неспособным. То же самое и в его письмах, и в разговорах наедине, так как за неимением райка он играет для самого себя.

Удивительно то, каким образом я поддаюсь этим приемам, хитря и отчаиваясь. Даже тогда, когда Удэн имеет основание сомневаться в успехе своих маневров, я не отказываю себе в мрачном удовольствии уверить его, что я остаюсь в дураках, что он волен удвоить дозу, повторять безнаказанно, плавать в моей доверии. Он не упустит такого случая.

Если бы я был менее проницателен, Удэн не вел бы себя иначе; зато у меня было бы одним другим больше, или, если угодно, у меня был бы лишний человек, которого я мог бы любить.

Я вам ничего не говорил о Пупарте. Само собой разумеется, он тоже служит у Сок и Суро. Когда у лошадей бывают друзья, это всегда друзья по запряжке. То же самое у нас: нам трудно иметь знакомства помимо канцелярии или мастерской, раз, при нормальных обстоятельствах, вся наша жизнь проходит там.

Пупарт—северянин; он претерпел все несчастья, которые только можно себе представить: жена, здоровье, семья, мужество, все ему изменило. Он сделался как бы специалистом по части неудач. То, что он как-будто несколько гордится этим,—мне кажется довольно естественным; но почему он хочет сделать меня ответственным за свои невзгоды, я никак не могу понять. И любопытнее всего, что он особенно едок со мной, хотя я никогда не переставал питать к нему искреннюю симпатию и оказывать ему при случае разные мелкие услуги.

Есть еще Девриньи, настоящий парижанин, болтливый, сангвинический, огненный и по цвету волос, и по темпераменту. Никогда не знаешь, серьезно ли он говорит или нет. Он только и думает о женщинах и не слишком выбирает свою дичь. Он не глуп, этот Девриньи, но это один из тех молодцов, которые если бы им

пришлось сделать выбор между обществом Виктора Гюго и обществом Фриз-Пупу, девицы из трактирчика Марке, наверняка предпочел бы девицу со всеми ее болезнями. Прошу вас верить, что я говорю это вовсе не потому, что Девриньи, когда мы бывали с ним вместе, бросал меня раз сто, чтобы побежать за юбкой какой-нибудь замарашки. Он уже порядком отупел от такого занятия и кончит тем, что отупеет совсем. Однако оставим его. Этот человек идет своей дорогой и поступает как ему угодно.

Могу вам назвать еще Вите, товарища по полку, человека, который едва не сделался моим другом, человека, причинившего мне много зла. За семь лет, прошедших с тех пор, как мы отбыли воинскую повинность, я встречался с Вите довольно часто: он служит на почте и путешествует два раза в неделю между Парижем и Невером. Если наши свободные часы совпадают, он приходит ко мне, когда ему придет фантазия помучить кого-нибудь, или я сам иду к нему, когда испытываю потребность в страдании, а это бывает со мной время от времени, как и со всяким, что бы на этот счет ни думали.

У Вите характер отвратительный, но ровный. Он свиреп с постоянством, со спокойствием. Если вас томит благородный энтузиазм, если вас обуревают пламенные желания, волнуют смелые планы, идите к Вите. Меньше чем в десять минут он исцелит вашу душу, он очистит вам

сердце от всех ваших прекрасных стремлений, он оставит вас голее, беднее, обездоленное, чем когда бы то ни было.

Если у меня родится когда-нибудь мысль достаточно живучая, чтобы в течение часа устоять против Вите, моя вера в себя делается безграничной. Вите?.. Разрушитель! Его излюбленное оружие—слово, на первый взгляд незначительное, но оно отточеннее скальпеля и заостреннее иглы. Когда я отдамся спокойствию, надежде, энтузиазму, Вите посмотрит на меня секунду своими маленькими глазками, окаймленными белобрысыми ресницами, и скажет только: «Ишь ты!» Я спрашиваю себя иногда, не погубило ли это слово всю мою жизнь.

В противоположность Вите, Ледьё—канцелярист, который работал рядом со мной на моей первой службе, у Мутье—не постоянно неприятен: у него бывают кризисы. В свои хорошие периоды, продолжающиеся сутки или двое суток, он весь изящество, безмятежная ясность, простодушие, беспечность. Потом небо внезапно заволакивается, все меркнет, и Ледьё становится угрюмым, нетерпимым, придирчивым. Это несчастная душа, беспокойная как страны, каждый год опустошаемые внезапными наводнениями и сияющими в промежутках, отстроиться снова, восстановиться.

Иной раз я вижу его столь опустившимся, столь униженным, что унижаюсь перед ним сам,

чтобы ему не одному оставаться в глубине своего несчастья. Как только я должным образом обвиню себя, сплущусь в лепешку. Ледьё воспользуется этим, чтобы превозвестись, чтобы встать мне на спину и растоптать меня. Я выхожу из всего этого раздраженным, пришибленным, растерянным. Если бы я был лучше, чем на самом деле, я остался бы доволен этим результатом, удовлетворился бы этим вливанием в него своей крови. Но я немного стою, и спрашивается, не внушены ли мои приступы унижения тоже чем-то в роде гордости.

Кроме того, Ледьё не способен выносить один ни своих скорбей, ни своих радостей. Когда он приходит ко мне, я смотрю ему в лицо, пытаюсь понять, что у него на душе. Неудача или успех? Заметьте при этом, что когда он счастлив, он мне сообщает:—то-то или то-то мне удалось. Зато если он делает глупость, если какая-нибудь слабость его одолела, если он совершает подлость, он восклицает с горечью: «Мы глупы, мы слабы, мы подлы». Э! Не довольно ли мне и одного себя?

Я мог бы также рассказать вам о Жэ; его общество делает меня почти больным, его спокойное злословие заставило меня возыметь отвращение почти ко всем, кого я знаю; и тем не менее Жэ хороший человек, способный на преданность, на самоотвержение.

Я мог бы также рассказать вам о Петцере,

который был товарищем моей юности, и которого испортила для меня его нелепая женитьба. Я мог бы рассказать вам о Кёйе. Но к чему? Это только укрепит вас в дурном мнении, которое вы теперь составили обо мне. И несмотря на все это, уверяю вас, единственное мое желание—любить, любить со всей полнотой, безусловно. Моя ли вина, что у меня ясный взгляд? И какой идиот сказал, что любовь слепа?

Быть может, вы мне возразите, что не все люди похожи на Ледьё, Жэ, Вите или Девриньи. Ах, в том-то и дело, что я не знаю, не знаю! У меня был знакомый, обучавшийся зубо врачебному искусству. Он свел меня однажды в анатомический кабинет в «Кламаре». Вы знаете: на улице Фер-а-Мулен? Все учащиеся были размещены вокруг столов с аспидными досками и разнимали на части человеческие головы, чтобы изучать анатомию лица. Обыкновенно им не дают цельных голов—это было бы расточительностью; головы распиливают пополам и предварительно с них сбивают всё: усы, волосы, бороду. Так вот, положенные плоско, как медали, обесцвеченные антисептическими средствами, расслабленные смертью, все эти половинки голов ужасно похожи друг на друга. То, что я там видел,—это человеческое лицо. Форма одна, и по ней отливают миллионы экземпляров.

XVI

Но могу ли я жаловаться, когда у меня есть Лану? Лану, которого я мог бы упрекнуть только в одном: в том, что он безупречен. Свойство подчас весьма раздражающее, сознайтесь.

Итак, я последовал совету матери и пошел к Лану. Это принесло мне некоторое облегчение. Неужели каждый раз, когда дело касается меня, моя мать бывает права?

Прошло несколько дней, и наступил ноябрь. Я люблю ноябрь, особенно когда он достаточно сер, достаточно туманен, с низким, быстрым, остервенелым небом, как свора, настигающая добычу.

Раз удача пренебрегала мною, я решил ее преследовать еще больше и выжидать, сидя дома. Я оставил всякие попытки.

Я делил свое время на три неравные части и проводил одну в прогулках, другую у Лану и последнюю дома. Мои прогулки имели целью только меня самого. Чаще всего я посещал маленькие улочки горы св. Женевьевы или аллеи

Люксамбура, главным образом утром, когда пустынный сад кажется безмолвным островом на лоне содрогавшегося города. Но, хотя я знал в совершенстве силуэты деревьев, построение перспектив, лица, походки и маршруты людей, прогуливающих в определенные часы среди увядших лужаек, моя мысль всецело была занята другим пейзажем, другими картинами. Я себя искал, я себя преследовал сквозь тысячи мыслей более стремительных, чем стада буйволов во время миграций.

Потом я возвращался на улицу По-де-Фер. Я вкушал в нашей квартире спокойствие; с каждым днем оно становилось глубже, и я его плохо объяснял себе. Столовая сделалась настоящей портняжной мастерской. Мама, которой столько пришлось шить в своей жизни, управлялась с работой хорошей швеи на магазин. Ранним утром Маргарита ходила относить заказ и брать материи, модели. В это время моя мать готовила еду на день.

В какое бы время я ни приходил, я заставал обеих женщин за делом. Я больше не стыдился своей праздности, она становилась чем-то дозволенным, нормальным. Я получал даже странное удовольствие от созерцания деятельности, в которой сам не принимал участия. Во время долгих бдений разводили небольшой огонь в столовой, в камине. У меня явилась скоро привычка приходить читать в эту комнату.

Иногда я упражнялся на флейте. Я играл с таким неослабным старанием, что сделал в этот период настоящие успехи. Сознание этих успехов повергало меня в нелепые мечты: я сделаюсь музыкантом, быть может композитором. Я представлял себе чудесную жизнь, озаренную славой, превознесенную восхищением толпы. Наконец-то я дам выход этой пленной душе, которая чахнет и отчаивается в глубине своей темницы.

Пока толпы еще не было на лицо, Маргарита, по крайней мере, находила как будто некоторую усладу в моих музыкальных опытах. Она отлично запоминала мои любимые мотивы; она напевала их за шитьем и часто просила меня снова их играть ей.

Однажды, когда я кончал вещь, исполненную мной, за неимением таланта, со старанием и от всего сердца, Маргарита подняла на меня глаза полные слез. Я был потрясен, тем более, что у Маргариты прекрасные утомленные глаза, которым слезы придают блеск очень трогательный и как бы детский.

Разумный человек подумал бы: «Вот действие музыки на отзывчивую и нежную душу». Но я все истолковал в свою пользу.

Я схватил шляпу и выбежал на улицу. Я чувствовал несказанную гордость. Я уже не сомневался, что мне дана какая-то новая власть. Этот отзвук моей души в чужой душе я при-

нимал за несомненный признак предопределения. Я шептал, стиснув зубы: «И все-таки я кто-то, кто-то! В конце концов непременно заметят, что я не такой человек, как другие».

Эта претензия, это безумство... быть не таким, как другие! И вся эта комедия по поводу маленькой арии на флейте и слез Маргариты.

Было около трех часов пополудни. Я блуждал несколько минут из улицы в улицу и очутился под конец у подножия Notre-Dame. Мой энтузиазм возымел вдруг своеобразное действие: я ринулся в башенную лестницу и поднялся, — одним духом поднялся на самый верх. Я был очень удивлен, что остановился тут и не был выброшен в пространство головокружительной каменной трубкой, как снаряд дулом орудия.

Это был памятный час. Наедине с облаками и бешеным ветром я встретил лицом к лицу Салавена, спасенного Салавена, освобожденного от толпы этих мерзких мыслей-паразитов, среди которых он прозябает как угнетенное растение. В течение часа я верил в себя; я принимал торжественные обязательства, я возлагал на себя ответственности, я приносил жертвы, я совершал, одним словом, поступки, достойные настоящего человека. Все это в своем сердце, разумеется.

Если бы я написал историю своей жизни, этот час мог бы называться победой пятого

ноября или победой Notre-Dame. Ибо это была победа, маленькая победа. Я ощущал ее результаты в течение нескольких дней.

Часто я брал книгу и оставлял свой диван, — я садился на маленькую скамью, в молочном свете занавесок, возле обеих женщин. Я погружался в чтение как в густой сон.

Вы видите, я довольно большого роста, довольно худощав. Чиновничье ремесло и пренебрежение физическими упражнениями сторбили мне спину. «Я держусь немножко криво», по выражению моей матери. Когда я читал, прижмурившись на своем табурете, я чувствовал, как еще увеличивается вся обычная неправильность в положении моего тела. Я весь корчился, съеживался. Казалось, моя жизнь ускользает, покидает меня, чтобы идти за всеми этими людьми, удивительные приключения которых я мысленно разделял. Между тем весь остров Салавена понемногу хирел. Не думаете ли вы, что если бы мы умели мечтать с достаточной силой, было бы довольно в иные мгновения самого маленького толчка, согласия одной секунды, чтобы умереть?

Обыкновенно из этой пропасти меня извлекал мамин голос; ее слова доходили до меня точно сквозь большую толщу войлока. Ей приходилось повторять несколько раз свой зов, прежде чем мне удавалось вынырнуть на поверхность мира. Я всегда думал, что моя мать

инстинктивно угадывает эти провалы моего ума. Нечто в роде крика зверя, когда он чувствует, что его детеныши в опасности.

То, что она говорила в таких случаях было однако весьма просто. Она давала мне, например, какое-нибудь поручение. Чары прерывались, я откладывал книгу и готовился повиноваться. Я сделался очень услужливым, что, кстати сказать, не принадлежит к моим природным достоинствам. Не приписывайте эту перемену характера желанию оправдать свое бездействие; нет, были другие причины, в которых вы уже начинаете, должно быть, разбираться.

Случалось тоже, что мама просила меня продолжать вслух чтение, начатое про себя. Она редко упускала случай прибавить:

— Вы знаете, в школе он всегда получал награды за чтение и декламацию.

На что я со смущенным видом отвечал:

— Да ну же, мама! Да замолчи же, мама! Зачем постоянно говорить об этом?

Моя бедная мама не может знать того стеснения, которое охватывает нас, мужчин, когда во всеуслышание превозносят наши детские таланты или подвиги.

Маргарита тотчас присоединяла свои настояния к маминим:

— Вы читаете так хорошо!

Я не заставлял себя долго просить. Я читал целыми часами. Обе женщины слушали, не пре-

рыва работы, но тщательно заглушая всякий шум. По временам мама брала маленькую поюшку табак; она делала это незаметно, почти тайком, зная, что я не люблю, когда она нюхает табак, я, который курю целый день, я, испорченный всевозможными дурными привычками, маниями, причудами.

Время от времени иголка Маргариты останавливалась и не порхала больше как тоненький синий огонек, который держат на поводке. Положив руки на колени, Маргарита слушала. Я видел ее полуоткрытый рот и глаза, устремленные на меня.

Я хмелел под конец от всех этих слов, не моих и все-таки произнесенных мною. Я уже не вполне был уверен, что не я сам подумал все эти прекрасные вещи, высказанные моим голосом, и когда Маргарита в избытке волнения шептала, обрывая нитку: «Как это прекрасно! Как это прекрасно!», я принимал ее похвалу как дань моим личным заслугам.

Обычно я мало говорил с Маргаритой. Но однажды, не помню, по какой причине, маме пришлось отлучиться после завтрака. Я остался наедине с Маргаритой и по обыкновению сидел в столовой. В течение часа я смотрел в книгу ничего не видевшими глазами. Я чувствовал, как мое сердце переполнено, как мои руки дрожат. У меня явилось жгучее желание поговорить с Маргаритой, поговорить с ней нежно.

Но нет, я не умею нежно говорить. День прошел, а я так и не раскрыл рта. Я пришел от этого в такое отчаяние, что, когда настал вечер, я разразился горькими речами, унылыми и наводящими уныние. О! для неприятных, жестких слов язык развязывается у меня сам собой. Мне не стоило никакого труда огорчить Маргариту, придавить ее потоком фраз, которые говорили как раз обратное всему тому, чем мне так хотелось бы с ней поделиться.

Она слушала, не отвечая; потом посмотрела на меня так грустно, с таким укором, что я опустил голову и попросил у нее прощения, заикаясь.

— О!—сказала она,—это ничего. Я отлично знаю, что вы добрый и что вы совсем не думаете того, что вы мне только что говорили.

«Добрый»! Я, я добрый? Я? Ах, вот как! И сейчас же поток горьких слов полился снова, до того момента, когда, совершенно опротивев самому себе, я надел шляпу и вышел.

Не надо прощать Салавену слишком скоро!

XVII

Я думаю все же, что не слишком мучил Маргариту в этот период времени. Я так думаю. Я не уверен ни в чем. Люди, которым мы обязаны нашими злейшими муками, так редко сознают свою жестокость! Есть и такие, которые воображают, что осыпали меня своими милостями, а на самом деле я считаю их своими злыми гениями.

Еще мальчиком я свел дружбу с одним своим двоюродным братом, которого очень любил. Я всячески стремился помогать его замыслам, восхвалять его заслуги, исправлять его ошибки. Как бы строго я к себе ни относился, я не находил в себе никакой вины по отношению к нему. И вот, однажды мы поссорились; по этому поводу мой двоюродный брат открыл мне свое сердце: я нашел там затаенную и живую злобу, долго скрываемые и потому еще более глубокие обиды, показавшиеся мне, увы! не лишенными основания, одним словом целый

клад ненависти, которой я оказался полным отчаяния предметом и причиной.

Как утверждать, что вы не причинили страдания человеку, когда вы на него посмотрели хотя бы один раз, когда ваши жизни встретились хотя бы только мысленно?

Если мне кажется, что в течение этого ноября я не был палачом Маргариты, так это потому, что я берег свое дурное расположение духа для Лану.

— Я ходил к нему—не говорил ли я вам?—каждый день, либо во время завтрака, либо после обеда, вечером, потому что Лану ведь не терял своего места и регулярно посещает бюро адвоката.

Чаще всего я заставлял обоих Лану за едой. Я садился в кресло-качалку возле окна и начинал раскачиваться. Я начинал также делаться несправедливым, отвратительным.

Счастье, что Лану мой друг! Счастье, что я его люблю! Иначе он очень раздражал бы меня.

Впрочем, если бы не было любви, если бы не было дружбы, все было бы мне противно в человеке. Посмотрите только, как он ест! Посмотрите, как он пьет!

Оклав Лану—спокойный малый, лениво на все реагирующий; он не лишен ни образования, ни умственной тонкости. Так как он унаследовал от своих предков со стороны отца кое-какие деревенские ухватки и некоторую неуклюжесть,

мне случается в дружеском кругу подтрунить над Лану; но я терпеть не могу, когда это делают другие. Вышучивать Лану—это привилегия моей дружбы, и я жестоко ревнив к этой привилегии.

Сдвинув ноги, откинув голову назад, опустившись на самое дно кресла, покачивающегося короткими толчками, я курил папиросу за папиросой, разглядывая полузакрытыми глазами семью Лану за трапезой.

Ребенок пачкался в своей тарелке. Октав и Марта, друг против друга, ели. Они делали это так же, как и все, будьте уверены! Мне же оставалось только смотреть на них. Мучительнейшее положение!

Если вы дорожите своим престижем, не ешьте в присутствии человека, не разделяющего ни вашего голода, ни вашей пищи.

Зачем так наполнять ложку, что часть ее содержимого проливается обратно в тарелку, не добравшись до губ? Зачем совать ложку боком и так глубоко в рот? Зачем это громкое втягивание в себя супа?

Я с трудом подавлял свою брезгливость. Тем временем Лану ничего не подозревали: не друг ли я им? Не доказал ли я это? Не человек ли я тоже, со всеми человеческими несовершенствами?

Мысль, что я удовлетворяю свой аппетит с наименьшей неловкостью и наивной нечистоплот-

ностью, усиливала мое неприятное чувство вместо того, чтобы его рассеять. Мне приходилось, как никак, признать, что мои челюсти тоже трещат, когда я жую, что наверное я ем тоже не закрывая рта, с шумом, с влажным щелканьем. Глаз наблюдателя, несомненно, должен видеть, как двигается мой язык, как последовательно изменяется пища под влиянием работы зубов; без всякого сомнения, мой нос, часто благодаря насморку заложенный, должен сопеть, свистеть, как только челюсти заработают.

Я так тяготился этим зрелищем и так стыдился своих размышлений, что вставал и собирался уходить. Октав смотрел тогда на меня ясным, удивленным взглядом и говорил просто:

— Зачем? Тебе некуда спешить.

С унынием я садился снова.

Если бы Лану мог угадать ход моих мыслей, я бы испытал невыносимое смущение. Но никто не может знать хода моих мыслей. Все же я сто раз готов был выдать себя и сказать своему другу: «Разве так необходимо шевелить кончиком носа, когда ешь бобы?»

Окончив еду, Октав закуривал свою маленькую трубку, и мы беседовали за чашкой кофе. Чтобы отвлечься от своих недобрых размышлений, я пытался неопределенно комментировать события дня. Лану слушал меня с внимательной любезностью и бормотал после каждой моей фразы: «Я совершенно твоего мне-

ния». Это упорное согласие вскоре вызывало во мне нетерпение. Как! я говорю глупости, жалкие пустяки, и Лану совершенно моего мнения, Лану, которого я считаю умным человеком. Лану, мой друг, мой единственный друг!

Доходило до того, что я тосковал по язвительной манере Вите, который не даст мне и слова сказать без того, чтобы не бросить какое-нибудь едкое «я совсем другого мнения».

Я возвращался к своему молчанию, к своему недоброжелательному и мучительному созерцанию.

Положив руки на колени, я ускорял раскачивание кресла. Мысль, что это постоянное качание могло опротивить Октаву или Марте, смущала меня, но все же не останавливала.

Насытившегося ребенка укладывали в постель. Это красивый ребенок, плотный, с прозрачной кожей и упругим телом. К несчастью, мизинец левой руки у него от рождения неправильной формы и прижат к ладони. В прекрасном существе—ищите изъяна, он всегда налицо. Если вы — благородная душа, вы не заметите этого изъяна, вы сумеете его забыть, сделать его несуществующим. Если вы — Салавен, вы иной раз не увидите ничего, кроме этого изъяна и он испортит вам все остальное.

Я целовал ребенка, своего крестника, и нес его на плечах в спальню. Иногда, глядя на это прелестное личико, едва образовавшееся, все

черты которого казались еще заключенными в какую-то тонкую оболочку, я начинал воображать лицо старика, которым оно станет в будущем, и меня снедала тоска.

Ребенок засыпал. Мы возвращались к нашей болтовне и к нашему табаку. Сквозь прикрытую дверь я ловил, напрягая слух, дыхание младенца, его крики во сне,—все звуки этого маленького уснувшего существования. Иногда эти звуки казались мне необычными; беспокойство охватывало меня. Но Лану оставались невозмутимы. Я считал, что они равнодушны, бесчувственны, недостойны подавляюще-тяжкого родительского долга.

В другие разы Лану подолгу беседовал со своей женой о личных делах. Он говорил мне: «Ты позволишь?» Я отвечал: «Конечно!» Но вскоре я находил, что все эти вопросы, которые они разбирали, были слишком мне чужды. Слишком многое ускользало от меня в жизни моего единственного друга. Слишком многое в Лану было у меня похищено. Ревнивая ярость терзала мне сердце.

В такие минуты я мечтал о мщении. Я был вполне готов, пусть только Лану даст мне малейший повод, высказать ему немало неприятных вещей, которые я старательно обдумывал.

Но часы проходили, а Лану находил для меня только самые дружеские слова. Я проглатывал свою злобу.

Позже, спускаясь по лестнице после прощальных рукопожатий, я с ужасом представлял себе, как Лану говорит жене: «Что за милый человек этот Салавен!»

Я опускал голову; гордиться было нечего. Все эти уродливые вещи, которых я не могу не видеть в моем друге, ведь не в нем они вовсе; они во мне, во мне одном.

XVIII

В течение декабря Маргарита перенесла ангину. Десять дней под ряд она оставалась у себя, в постели. Моя мать носила ей бульон, настойки, снадобья.

Порядок дома оказался глубоко нарушенным. Больная, два хозяйства, стряпня обременяли маму заботами. Она находила еще время шить, но отнимала его у своего отдыха. Мы обедали бок-о-бок, на спех, и мне казалось, что большая пустота зияет между нами.

И однако именно так мы жили в течение долгих лет; двух месяцев новых привычек было таким образом достаточно, чтобы сдать в архив обычаи старые, как моя жизнь.

Я старался быть полезным и проявлял забавное рвение, свойственное мужчинам во время домашних неурядиц. Я бродил из комнаты в комнату, садясь на все стулья, прислонясь ко всему, открывая и закрывая двери, беспричинно передвигая вещи. Моя мать время от времени поднимала свои очки ногтем указательного пальца

и смотрела на меня. Хотя ее взгляд был спокоен и совершенно естествен, я чувствовал, что краснею, и отворачивался, стараясь показать, что занят каким-нибудь делом, тотчас становившимся безразличным моему сердцу.

Когда моя мать с дымящимся бокалом в руке уходила к Маргарите, занимавшей, как я вам говорил, комнату по соседству с нашей квартирой, я доходил до площадки лестницы и, придерживая ногою дверь, ожидал, кусая ногти.

Мама возвращалась и говорила:

— Ей лучше.

Я отвечал:

— А? Хорошо! Хорошо!

Я старался принять равнодушный вид. Это мне плохо удавалось.

Приходил доктор, его визит был в общем успокоителен. Положение Маргариты не было серьезным. Рецепт он пришел писать к нам и сказал мне уходя:

— Нет никаких оснований для беспокойства, к будущей неделе ваша сестра совершенно оправится.

Я не думал разубеждать доктора. Мысль, что я мог бы иметь сестру, такую сестру как Маргарита, была мне приятна и наполняла мне душу меланхолическими сожалениями.

Во время одной бессонной ночи, которая вся прошла в раздумье о себе, я заметил с удивлением, что в продолжение четырех дней у меня

ни разу не было ни одной из этих нелепых мыслей, уродующих мою душу и составляющих мучение моей жизни. Я пришел от этого в большой восторг, до зари не давший мне спать.

Радости приходят вереницей. На следующее утро Лану, которого я забросил с тех пор, как Маргарита заболела, появился на улице По-де-Фер. Он принес мне работу: переписку судебных решений, так называемые «чистовые», которые он взял на себя с целью дать мне заработок.

Вы, может быть, не знаете, что такое «чистовые» на жаргоне стряпчих? Дело вот в чем: адвокаты, желая округлить свой гонорар, присоединяют к делам клиентов судебные решения на гербовой бумаге, расцениваемые очень высоко. Существует обычай поручать изготовление этих документов младшим клеркам, которые после нескольких страниц, касающихся дела, рассмотренного на суде, переписывают наугад текст свода законов. Четыре или пять слов в строчке, работа на скорую руку, одна видимость. А адвокат, получающий отсюда большую наживу, не скупится довольно хорошо оплачивать эту странную работу, которую писцы выполняют вне служебных часов. Это смешно, но это так.

Лану принес мне свод законов и кипу бумаг. Я с жаром принялся за дело. Маргарита больна, мать перегружена заботами, теперь я сам смогу зарабатывать на наши домашние нужды.

Целые дни и часть ночей я сидел и переписывал.

сывал лихорадочным пером весь закон о несчастных случаях во время работы. Я считал в уме: восемь су, шестнадцать су, двадцать четыре су. Я находил в этой смехотворной деятельности основания для гордости и ряд причин уважать самого себя. Я вам говорил: я чувствовал, что становлюсь другим человеком. Подменили Салавена.

Что касается глубоких причин этого перерождения, я остерегался их искать из какого-то суеверного страха и считал за благо эту остановку моей, приводящей в отчаяние, способности анализа, эту передышку, эту дремоту.

Пришел однако день, когда все стало ясно, и мой покой не был нарушен.

Я сидел в столовой за перепиской; мои перепачканные чернилами пальцы галопировали по голубой бумаге, и глаза с воодушевлением следили за работой пальцев. Дверь открылась; вошла мама, подталкивая перед собой Маргариту.

С горлом, затянутым белым шарфом, со своими прекрасными волосами, заплетенными в косы, немного бледная лицом Маргарита имела слегка ослепленный светом вид, свойственный выздоравливающим.

Потом она сидела у огня в нашем почтенном вольтеровском кресле. И только в этот день я понял, что со мной произошло.

XIX

Итак моя жизнь получила смысл. Поймите меня: моя жизнь получила направление. Она уже не разбредалась больше, как беззаконное стадо, она была собрана, ориентирована. Река, а не болото. Сосредоточенная и полная песнь после ряда нестройных возгласов.

Есть, повидимому, люди, у которых все мысли неизменно вращаются вокруг одной оси, как змеи на жезле Меркурия. Я был на пути к тому, чтобы стать одним из этих людей.

Есть люди, живущие во благодати; их сердце чисто, и его посещают прекрасные желания. Я тоже буду жить во благодати.

Есть люди, обладающие миром, даже в глубине бедности. Я буду обладать миром. Я буду, наконец, обладать самим собой. Я спасен. Я способен любить. Все мне это доказывало: эта благожелательность, разлитая на лицах, это мирное сияние вещей, эти порывы, эти молчания, и жажда самопожертвования, и трепет моих рук.

Одно решение сложилось в моем уме: хранить в тайне свою уверенность. Признаваясь в ней, разглашая ее, не рисковал ли я причинить ей ущерб, может быть, даже уничтожить ее. Не понадобятся ли долгие годы покоя, чтобы восстановить честь Салавена, чтобы приучить его к самому себе, к его богатству, чтобы сделать его достойным его новой судьбы?

Счастлива ли или несчастлива эта немая любовь, об этом я совсем не думал. Мысль, что мне могут платить взаимностью, расстраивала так сильно самые твердые мои решения, что я считал за лучшее устранять ее вовсе. Напротив, я относился к обратной гипотезе с забавным предпочтением. Любовь непризнанная, отвергнутая, тем не менее была-бы для меня любовью. Счастье, которого я жаждал, было из тех, что питаются немалыми страданиями,

Вы улыбнетесь наверное. Вы составили себе о радости разумное и точное представление, которое я не в состоянии опровергнуть и даже понять. В самом деле, я не оправдываю себя, я не защищаю своего дела, вы это знаете. Я стараюсь дать вам хоть некоторое представление о том, что во мне происходило. Сверх того, я не намерен перегружать подробностями эту часть моей истории. Мне еще удастся изобразить свою неразбериху, свои глупости, свои промахи. Но счастье? Можно ли его рассказать? Можно ли заинтересовать кого-нибудь своим счастьем, этой

скучной вещью — такой плоской, такой бедной на чужой взгляд?

Достаточно будет сказать вам, что я был счастлив без недоверия, без сомнений. Мне не хватало необходимой ясности взгляда, и я не замечал, что мои восторги слишком походили на мое отчаяние, что они были, как и оно само, судорожны, безмерны, неловки что наконец им не хватало гармонии.

Было бы трудно даже внимательному наблюдателю заметить этот переворот, происшедший во мне. Наружно ничто не изменилось в моем существовании. Маргарита по выздоровлении снова заняла свое место возле моей матери. Слышалось мурлыканье швейной машины, и мое перо время от времени клевало дно чернильницы. Мы обедали вместе на кухне, наполненной паром и благовонными запахами.

Я был весь загроможден своим чувством; я созерцал его робко, опасно, как хрупкий предмет, который боишься разбить при переноске.

Я повторял себе с минуты на минуту: «Внимание! Вот начинается настоящая жизнь». Иногда, страшась неожиданностей будущего, я желал, подобно стольким людям, достигшим полноты счастья, чтобы вечность, вся целиком, была только расширением одного мгновения. А иногда, волнуемый честолюбивыми мечтами, я видел себя на пути к вершинам добродетели, совершенства;

я представлял себе свою душу исполненной благословения, опьяненной блаженством, искупленной, приобщенной святости. Да, именно: жизнь святого! А почему нет? Разве не часто блаженные избирались из толпы паршивых овец? И найдется ли в раю достаточно осиянное место для падшего ангела, которого внезапно коснулась благодать?

Таковы были мои мысли в то время, как головокружительным пером я переписывал статью за статьей закон о несчастных случаях во время работы.

Иногда мама просила меня о какой-нибудь маленькой услуге. Я исполнял эту просьбу с готовностью, которую сам находил чересчур бросающейся в глаза. Что поделать? Нельзя же обладать сразу всем: и счастьем, и властью над своими нервами.

Иногда Маргарита пела. Я подпевал ей мысленно, стараясь, чтобы мое пение оставалось внутри и не выдавало меня.

Я избегал смотреть на Маргариту, на настоящую, на живую Маргариту. Только внутри себя я созерцал ее, только внутри себя я возносил к ней безмолвную молитву.

Не улыбайтесь! Не смейтесь надо мной! Если бы мне удалась жизнь, о которой я мечтал, это была бы, действительно, прекрасная жизнь.

Мне случалось также думать о своих друзьях, о всех этих людях, о которых я говорил вам

в столь презрительных выражениях. Удэн представлялся мне тогда недюжинным характером, редкой души человеком с благодетельнейшим влиянием на меня. Несчастья Пупарта внушали мне безграничное сострадание; о! я сумею притти ему на помощь, утешить его, вернуть ему спокойствие, счастье. А Девриньи! Девриньи—сама жизнь, здоровье, энергия, бьющая через край! Какой весельчак! Что до Вите, каких только умных и дружеских уроков я не получал от него! Он научил меня смирять мою гордыню, оценивать мои добродетели и мои силы умеренно и скромно. Ледьё великодушно приобщал меня ко всем своим радостям. Жэ не злословит, как я к своему стыду считал, он одарен ясностью взгляда и проницательностью. Я плохо судил о жене Петцера, плохо истолковывал поступки Кёйя. А Лану, мой бесценный Лану, мой брат, мой друг, мой благодетель,—я не могу подумать о нем без умиления, без смущения, без укоров совести.

Наконец моя мысль постоянно возвращалась к моей матери, к Маргарите, к этим двум дорогим образам; возле них будет протекать моя жизнь, моя новая жизнь. О, жаркий свет, благоухание, сладостная музыка!

Вы видите, все это совсем прекрасно, совсем трогательно. И так было без перерыва от 17 до 25 декабря.

XX

Я пошел в день Рождества обедать к Лану, который пригласил меня на маленький семейный праздник.

Сухой, колючий, бодрящий холод. Итти—радость, несмотря на дырявые подошвы. Запахнувшись как следует в свое старое пальто, я вышел из дому довольно рано: не приятнее ли дружеская трапеза, когда ей предшествует долгая беседа?

Путь был мне знаком. Как скот в загородке, я топчусь на месте и ступаю по старым следам. Париж велик, но в Париже у меня есть своя деревня. Как почти для всех людей, для меня существует только самая тесная отчизна. Люди, странствующие по свету, считают себя свободными от всякой неволи; не думаете ли вы, что им приходится импровизировать себе родину в их паровой каюте или железнодорожном вагоне? Иногда им приходится даже уносить с собой эту крохотную родину в чемодане, в кармане, во взгляде дорогого спутника.

Улица Кардинал-Лемуан благоволит ко мне, когда я по ней спускаюсь. Она мчит к реке с распростертыми объятиями. Она увлекает меня, как желание, которое жаждет утolenия. Она—как бодрящая игра накопленных сил.

Потом—равнина, и полной грудью горизонт Сены и набережных, тоненький пешеходный мостик Эстакады, остров и этот провинциальный берег, где Париж как будто забывает свое неистовое буйство.

Я поглядел лишний раз на этот милый сердцу вид глазами счастливого человека. Пусть останется со мной этот образ навсегда, на черный день.

Лану ушел с утра, чтобы сделать кое-какие покупки, и еще не вернулся. Марта, занятая приготовлениями к нашему маленькому празднику, приняла меня в домашнем костюме: кружевном чепчике и небрежном пенюаре. Но не свой ли я человек в этом доме?

Мальчуган взял меня за руку, чтобы показать мне сокровища, найденные чудесным образом на заре в камине. Все в тесной квартирке дышало тем семейным счастьем, о котором я мечтал когда-то как о заповедной земле.

Заводить заводные игрушки, складывать цветные кубики, пасти еловых овец, все это казалось мне очень занимательным до одиннадцати часов. Как вслед за тем началось несчастье? В какое именно мгновение появились

первые признаки моей внутренней гибели? Этого я не сумел бы вам сказать. Возможно, что причиной всему был этот пенюар с короткими рукавами. Все может служить поводом для плохо защищенной души.

Марта хороша собой, у нее темные волосы, она крепкого сложения. У нее характер ровный, открытый: сдержанность и доверие вместе. Это жена моего друга; ее никогда не касалась до сих пор горячка моего воображения.

И вот случилось, что Марта наклонилась над столом, чтобы поправить что-то на висячей лампе. Она подняла руку. Рукав ее пенюара был короткий, развевающийся, очень широкий. Мой взгляд невольно проник в этот рукав и поднялся вдоль по руке вплоть до влажной и пушистой тени под мышкой.

Для Марты это было все. Она уже убрала руку, уже повернулась спиной, уже вышла из комнаты.

А я, я сидел в кресле-качалке, нога на ногу, и раскачивался. Ребенок играл на ковре. Вот как всякий понял бы эту сцену.

Сударь, вы мужчина; мне не придется слишком долго объяснять вам характер мыслей, которые обрушились на меня, сущность события, происшедшего в моем уме.

Какая-то огромная грубость, нечто в роде насилия, гнева, бреда. Разорванная одежда. Мольбы, рыдания. Ничто не могло устоять против шквала, ни честь, ни дружба. Я был подл, разнуждан,

пьян. До мельчайших подробностей я видел это тело в моих руках и все мои движения.

Марта прошла по соседней комнате. На одну секунду я увидел против света, перед окном, ее силуэт почти голый, в развевающейся одежде. Новый удар кнута. Новая ярость. Мои глаза снова поднялись к потолку, где рисовалось сумасбродное происшествие: я похищал эту женщину, я уносил ее в темные, полные аромата комнаты с измятыми постелями, под ночником, передергивающимся в нервной судороге.

А потом—путешествие. Уехать! Можно будет уехать! Задыхающаяся, проклятая, чудесная жизнь. Туда! по неведомым материкам. Азия! или Антильские острова, или Океания.

У моих ног ребенок запел, размахивая трешоткой. Ну что ж! ребенка мы оставим Лану. Пусть Лану утешается этим ребенком! Я напишу ему письмо, где объясню все. Я написал письмо с начала до конца на желтоватой штукатурке потолка.

Я представил себе каюту корабля с сизым окном, рассеченным морским горизонтом; и объятия, сотрясенные топотом машины, опрокинутые внезапно ударами качки; и руки, хватающиеся за стены, руки в томлении и в корчах; и раскаяние вдвоем, раскаяние, удушаемое страшными ласками.

Должен прибавить, что все это, все происходившее во мне, не вполне было похоже на то,

что называется желанием. Это была одна из тех фантазий, которые получают удовлетворение в самих себе. Я не сделал бы и тени движения, чтобы осуществить свое безумство. Нет! Весь этот хмель оставался загнанным в душу и почти не имел отношения к своему предмету. Малодушная, спрятанная, одинокая мерзость.

... Я кончал письмо Лану, когда маленькая выпуклость штукатурки, один из неопределенных узоров, которые пенились и бурлили у середины потолка, стал незаметно прекрасной, светлой прядью, трепещущей и вьющейся около уха Маргариты, когда она шьет, склонясь над своей работой. И все нежное лицо Маргариты появилось на потолке с тем самым взглядом, который у нее был, когда она шептала: «О! я отлично знаю, что вы добрый».

Ну, что же! Можно забыть Маргариту.

Маргариту! Уже! Моя мечта задыхалась как загнанный конь, который спотыкается и сейчас падет. Вся кровь моей мечты истощалась.

В эту минуту раздался голос Марты. Я припоминаю, что она сказала фразу из самых обыкновенных:

— Октав заставляет вас ждать. Он будет очень огорчен.

Все образы потонули в сером тумане. Я вздрагивал, я был утомлен, грустен, как тот, кто только что прикончил свою мечту на диване меблированной комнаты. Слабость в ногах,

голова полная ваты, замирание сердца и, главное, непреодолимое желание плакать, стонать.

Я встал и прошел в прихожую. Там, я взял свое пальто.

— Что вы делаете?—сказала Марта, появившаяся на пороге кухни.—Вы забыли что-нибудь?

— Да, я забыл... я забыл...

Звук моего голоса мне показался столь жалким, что я не произнес больше ни слова. Я открыл дверь и бросился вниз по лестнице. Я еще вижу удивленное лицо Марты, как оно подвигалось в полутьме и склонилось над перилами.

Спустившись до первого этажа, я оказался лицом к лицу с Лану. С прекрасной и дружеской улыбкой он протянул мне руку.

— Октав,—сказал я, отодвигаясь,—Октав, прости меня. Я не остаюсь с вами. Я не могу остаться. Я не заслуживаю, чтобы принимали участие во мне.

Лану остановился, остолбенев от удивления. Я готов был оттолкнуть его, лишь бы скорей выбраться на улицу. Я перепрыгивал последние ступеньки. Я кричал:

— Нет, нет, Октав, не надо меня любить!

Когда я затворял наружную дверь, я слышал позади себя на лестнице звук поспешных шагов. Лану звал изменившимся голосом.

— Луи! Луи! Послушай, Луи...

На улице я быстро зашагал, не оборачиваясь.

XXI

Не следовало бы никогда испытывать радости; уход радости слишком жестокое страдание.

Был полдень. Jardin des Plantes казался пустынным. Затвердевшая почва, скрипящая от холода. Скамейки, покрытые слоем инея. Я сел все же на одну из них. Направо от меня было дерево, которое всеми своими протянутыми руками приносило клятву с величественной сосредоточенностью.

Я смотрел на его узловатый ствол, на его бесчисленные ветви, на толстые корни, которые местами выплывали на поверхность раньше, чем погрузиться окончательно, как спины дельфинов, и думал.

Оно умеет выбирать; оно черпает из земли, где столько соков, столько питательных и ядовитых веществ, столько материала, накопленного искони. Оно черпает и берет только необходимое. Оно пренебрегает остальным. В хаосе оно выбирает себя.

А я не умею себя выбрать. Каждая странствующая мысль находит приют в моей душе. Каждое зерно, западающее в мое существо, может там прорасти. Где я во всем этом? Кто я в этой толпе? Может ли быть счастье для меня в этой тьме враждебных бесов? Как себя узнать, назвать, позвать среди всех этих лиц?

Не говорите мне: «эти мысли в вас, но они не вы». Э! Не я ли их мыслю? Не я ли их питаю?

Главное, главное, не говорите мне: «все это живет только в вашем уме». Идет в счет только то, что происходит там.

Я никогда не смогу сделать из моей жизни что-нибудь чистое, что-нибудь отчетливое.

Я неспособен на любовь, неспособен на дружбу, если только любовь и дружба не совсем бедные, не совсем жалкие чувства.

Я плохой сын, я плохой друг, я плохой влюбленный. В глубине своего сердца я хотел смерти моей матери, я предал и осрамил Лану, изнасиловал, осквернил Марту, покинул Маргариту. Я совершил тысячу других преступлений, о которых не сохранил даже памяти, и это безнадеежнее всего.

Я не шажу ничего в глубине своего сердца; и все же!

И все же я подчас мечтал о жизни, которая была бы самой прекрасной, самой благородной из жизней.

Не моя это вина. Не в моей это власти. Не обвиняйте меня раньше, чем обратиться к самому себе.

Я поденщик, раб. Кто мне даст свободу? Кто спасет меня от гибели? Кто может вернуть мне утраченную благодать?

Мир ускользает от меня. Я бьюсь среди теней. Кто придет мне на помощь?

Таковы были мои размышления на скамейке Jardin des Plantes. Мне было холодно. Вскоре я захотел есть. Я констатировал не без горечи, что способен чувствовать холод и голод, несмотря на свою скорбь. Новая рана для гордости.

Я боролся с холодом ходьбой, а с голодом одним из этих хлебцев с изюмом, одним из этих ржаных хлебцев, услаждавших мое детство.

Я блуждал так, то по аллеям сада, то по соседним улицам, до сумерек. Небо совсем нахмурилось и потемнело. Никогда оно не казалось мне более враждебным, более угрюмым; и это была чистая иллюзия, ибо даже под июльской лазурью, весь в поту, я испытывал горести, далеко превосходящие все зимние печали. Солнце—только в спокойствии сердца.

Куда идти?

Ночь густела, и пошел снег. Я шел тогда по улице Бюффона. Я вынырнул на поверхность

мира, чтобы увидеть, что идет снег. Потом снова погрузился в глубины.

Немного позже я заметил, что нахожусь близ городской казармы, на улице Монж, по дороге к улице По-де-Фер. Зверь возвращался к жилью; сам собой он шел к берлоге, где тепло, где едят.

Все то же самое. Все тот же ритм. Уйти, вернуться. Приносить домой каждый вечер свое бремя злобы и отвращения.

XXII

Сударь, уже миновала полночь, и вы меня слушали до сих пор с большим терпением и добротой. Итак я злоупотреблю вашей симпатией и dokonчу свой рассказ.

Неделя прошла с тех пор, как произошли события, отметившие для меня день рождества. Еще раз я прошу извинить меня, если я называю событиями вещи, которые совершились исключительно во мне. У мира две истории: история его деяний, та, что запечатлена в бронзе, и история его мыслей, та, до которой как будто никому нет дела. Но поистине, что значат мои поступки, если все мои мысли только отречение от них, их осмеяние?

Сперва я прожил четыре дня во все возрастающем беспокойстве. По многим причинам, которые вы легко угадываете, оставаться дома мне было тягостно: столько воспоминаний, и взгляды этих двух женщин, и ложь моего лица, моих слов, моих движений.

Я уходил поэтому каждый день с утра и возвращался только поздно ночью, чтобы сразу лечь спать. Каждый вечер моя мать говорила мне, что Лану приходил и ждал меня час или два, не слишком объясняя причину своего посещения.

Я проводил ночи на диване, куря, сражаясь со своими бесами.

Третьего дня утром у меня было решительное объяснение с моей матерью. Было ли это действительно объяснение? На самом деле мама говорила одна.

Я собирался уходить. Маргарита ушла за работой в мастерскую. Мама приводила в порядок квартиру.

— Луи,—сказала она,—присядь на минуту возле меня.

Я сел. Лицо у меня должно было быть замкнутое, белое, передергивающееся маленькими тиками, которые я не могу сдерживать. Я не знал, чего хочет мать. Я был вместе и встревожен, и удручен.

— Луи, — сказала мне мать, — тебе будет тридцать лет через два месяца.

Я сразу понял. Мать говорила больше получаса. «Мне пришло время жениться. Скоро я уж наверно найду себе место. Мама об этом немножко позаботилась сама. Пришло время для меня выбрать себе подругу жизни. И, как раз, не была ли тут же около меня»...

Ах, мама, мама, как вы меня любите! Как вы хорошо меня знаете! Как вы плохо меня понимаете!

Я не мешал ей говорить. Она дружески трясла мои руки, которые упали безжизненно. Когда она пыталась расспрашивать меня, я качал головой, не отвечая.

Позвонили, и это меня освободило. Вошла Маргарита. Тотчас я схватил свое пальто и вышел как можно быстрее, посмотрев мимоходом с чем-то вроде досады на эту молодую женщину, которая собирается осчастливить такого человека, как я.

С тех пор прошло более двух суток. Я не возвращался домой. Я не вернусь туда больше; я больше не могу.

Я написал маме ничего не объясняющее письмо. Как объяснить такие вещи! «Мама,—писал я ей,—ты не знаешь, что я за человек. Не проси меня вернуться к тебе. Не требуй, чтобы я был счастлив». И тысячу других глупостей в таком же роде, которые должны были причинить ей настоящую пытку, ничего не разъясняя.

Скоро три дня, как я скитаюсь по Парижу, без цели, без пристанища. Я спокоен, но очень несчастен.

Я не ищу смерти. Я еще не готов для смерти. У меня хватит денег на два дня. Потом я

займусь какой-нибудь ничтожной работой, чтобы жить.

Не говорите мне об этих двух женщинах, которые, должно быть, сейчас пьют рядышком в столовой. Что они думают? О чем они говорят? Не говорите мне об этом: я слишком много об этот размышлял за последние три дня.

Случай привел меня сегодня в эту пивную, где мне довелось вас встретить. Я пил очень мало; вы наверно это заметили. Я бы охотно напился, но у меня такой больной желудок.

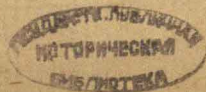
Не рассказывайте никому эту историю, которая вовсе не история. У каждого своя мука и свое бремя. Бесполезно тревожить людей Салавеном. Бесполезно также давать им повод для смеха.

Я больше не знаю, что делать. Я больше не знаю, куда деваться. Быть может, пушусь в дорогу, если ветер сжалится надо мною и унесет меня. Быть может, останусь. Быть может...

Вы, сударь, вы кажется, простой и добрый человек, вы так благожелательно дали мне высказаться, может быть, вы скажете,—что же мне делать?

Перевел с французского

В. Вейдле



„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

- | | |
|----------------|--|
| Г. ДАННУНЦИО | — „Ноктюрн“, ц. 1 р. |
| П. ВЕНУА | — „Атлантида“, роман, ц. 40 к. |
| » | — „Дорога гигантов“, ц. 75 к. |
| С. БРЖОЗОВСКИЙ | — „Зарево“, роман из эпохи народо-
довольцев, ц. 1 р. 25 к. |
| Г. ВЕРФЕЛЬ | — „Человек из зеркала“, пьеса,
ц. 60 к. |
| К. ГАМСУН | — „Соки земли“, роман, ц. 65 к. |
| Г. ГАУПТМАН | — „Зимняя баллада“, пьеса, ц. 33 к. |
| П. ГЗЕЛЬ | — „Беседы А. Франса“, ц. 70 к. |
| О. ГЕНРИ | — „Рассказы“, ц. 1 р. |
| » | — „Короли и капуста“, роман, ц. 90 к. |
| Г. ГОЛЬСТ | — „Лирические драмы“, ц. 45 к. |
| С. ЛАТЕРЛЕВ | — „Гномы и люди“, рассказы, ц. 35 к. |
| Р. МАРАН | — „Батуала“, африканский роман. |
| К. МЕЙРИНК | — „Голем“, роман, ц. 70 к. |
| М. МАРКС | — „Женщина“, роман, ц. 50 к. |
| М. МАТЕРЛИНК | — „Белая невеста“, пьеса. |
| Ж. РОМЭН | — „Доногоо-Тонка“, кинематогра-
фический роман, ц. 25 к. |
| Р. РОЛЛАН | — „Кола Бреньон“, роман, ц. 70 к. |
| » | — „Пьер и Люс“, роман, ц. 35 к. |
| » | — „Клерамбо“, роман, ц. 1 р. |
| » | — „Аннет и Сильвия, роман. |
| ДЖ. СИНГ | — „Герой“, пьеса, ц. 55 к. |
| Э. СИНКЛЭР | — „Сто процентов“, роман, ц. 75 к. |
| Г. УЭЛЛС | — „Неугасимый огонь“, роман,
ц. 40 к. |
| Ф. УНРУ | — „Род“, „Площадь“, пьесы. |
| А. ФРАНС | — „Жизнь в цвету“, роман, ц. 80 к. |
| Л. ФРАНК | — „Человек добр“, роман, ц. 65 к. |
| К. ЭДШМИДТ | — „Шесть притоков“, новеллы,
ц. 60 к. |
| » | — „Тимур“, рассказы. |
| ЭКСПРЕССИОНИЗМ | — „Сборник статей“, с иллюстрац. |

Цены обозначены в червонцах по курсу Госбанка.